

Владимир
Набоков



Машенька

Подвиг

Владимир Набоков
Машенька. Подвиг

«Corpus (ACT)»

1926, 1931

УДК 821.161.1-31(73)
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

Набоков В. В.

Машенька. Подвиг / В. В. Набоков — «Corpus (ACT)», 1926,
1931

ISBN 978-5-17-137779-3

Книгу составили два автобиографических романа Владимира Набокова, написанные в Берлине под псевдонимом В. Сирин: «Машенька» (1926) и «Подвиг» (1931). Молодой эмигрант Лев Ганин в немецком пансионе заново переживает историю своей первой любви, оборванную революцией. Сила творческой памяти позволяет ему преодолеть физическую разлуку с Машенькой (прототипом которой стала возлюбленная Набокова Валентина Шульгина), воссозданные его воображением картины дореволюционной России оказываются значительнее и ярче окружающих его декораций настоящего. В «Подвиге» тема возвращения домой, в Россию, подхватывается в ином ключе. Переосмыслив в книге модель классического «романа воспитания», Набоков наделяет своего трогательного героя некоторыми собственными чертами и обстоятельствами. Выпускник Кембриджа с цветочным именем Мартын Эдельвейс, еще один русский беженец за границей, мечтает совершить что-то исключительное. Он путешествует по Европе и тщетно ищет применения своим способностям. Никогда не оставлявшее его смутное стремление постепенно обретает очертания, и он решается на подвиг, подобный мифическому сошествию в Аид — перейти границу возможного и вернуться в собственное русское детство.

УДК 821.161.1-31(73)
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-17-137779-3

© Набоков В. В., 1926, 1931

© Corpus (ACT), 1926, 1931

Содержание

От редактора	7
Машенька	8
1	8
2	10
3	20
4	21
5	26
6	29
7	32
8	35
9	39
10	45
11	46
Конец ознакомительного фрагмента.	47

Владимир Набоков

Машенька. Подвиг

романы

Машенька

Copyright © 1970 by Dmitri Nabokov

All rights reserved

Подвиг

Copyright © 1971 by Dmitri Nabokov

All rights reserved

© А. Бабинов, редакторская заметка, примечания, 2021

© А. Бондаренко, Д. Черногаев, художественное оформление, макет,

2021

© ООО «Издательство АСТ», 2021

Издательство CORPUS ®

От редактора

В 1924 г. Набоков в Берлине начал писать свой первый роман, предварительно названный «Счастье». К концу этого года были готовы две главы, но вскоре Набоков уничтожил рукопись, сохранив лишь отрывок, опубликованный в январе 1925 г. под названием «Письмо в Россию» и с указанием «Из второй главы романа „Счастье“». Позднее Набоков вспоминал, что вернулся к своему замыслу весной 1925 г., женившись на Вере Слоним, которой и посвятил книгу, получившую название «Машенька». В письме к матери от 13 октября 1925 г. Набоков рассказал о работе над ней:

Любовь моя, с какой радостью буду читать тебе мой роман... Герой мой не очень симпатичный господин, зато среди других лиц есть милейшие люди. Я знакомлюсь с ними все ближе, и уже мне начинает казаться, что мой Ганин, мой Алферов, танцовщики мои Колин и Горноцветов, мой старичок Подтягин, киевская еврейка Клара, Куницын, госпожа Дорн и т. д. и – *least but not last*¹ – моя Машенька, – люди настоящие, а не выдуманные мной. Я знаю, чем пахнет каждый, как ходит, как ест, и так хорошо понимаю, что Бог – создавая мир – находил в этом чистую и волнующую отраду. Мы же, переводчики Божьих творений, маленькие плагиаторы и подражатели его, иногда, быть может, украшаем Богом написанное, как бывает, что очаровательный комментатор придает еще больше прелести иной строке гения. И за то, что вот так украшаем, дополняем, объясняем – будет нам выдан гонорар в редакциях рая.

«Машенька» была опубликована в 1926 г. в берлинском издательстве «Слово». Печатается по этому изданию. В 1928 г. издательство «Ullstein» выпустило немецкий перевод дебютного романа Набокова под интригующим названием «*Sie kommt – kommt sie?*» (Она придет – придет ли она?). В 1970 г. вышел английский перевод «Машеньки» («*Maгу*»), созданный Майклом Гленни в сотрудничестве с автором.

«Подвиг» сочинялся в Берлине в 1930 г., когда Набоков был уже известным автором трех романов. 17 августа этого года Набоков писал редактору журнала «Современные записки» И. И. Фондаминскому: «Зимой же я вам представлю большой роман из „эмигрантской жизни“, – я уже написал около полутора ста страниц, и осталось, вероятно, столько же; он будет, может быть, называться „Золотой век“, – я еще не знаю, очень какая-то бодрая вещь, без „страшного мира Сирина“, как кто-то писал».

«Подвиг» был закончен к ноябрю 1930 г.; в следующем году, наряду с публикацией отрывков из него в эмигрантских газетах, он был полностью опубликован в нескольких номерах «Современных записок». Отдельной книгой «Подвиг» вышел в 1932 г. в издательстве «Современные записки» (Париж). Печатается по этому изданию. Английский перевод романа под многозначным названием «*Glogy*» (слава, триумф, победа, великолепие, расцвет), подготовленный автором вместе с сыном Дмитрием, увидел свет в 1971 г.

«Машенька» и «Подвиг» были переизданы в «Ардисе» (Анн-Арбор) по первым изданиям в 1974 г.

¹ Здесь: незначительная, но не последняя. Набоков обыгрывает английское выражение *last but not least* (последний, но не менее важный). (Здесь и далее – прим. ред.)

Машенька

Роман

Посвящаю моей жене

*...Вспомня прежних лет романы,
Вспомня прежнюю любовь.*

Пушкин

1

– Лев Глево... Лев Глебович? Ну и имя у вас, батенька, язык вывихнуть можно.

– Можно, – довольно холодно подтвердил Ганин, стараясь разглядеть в неожиданной темноте лицо своего собеседника. Он был раздражен дурацким положением, в которое они оба попали, и этим вынужденным разговором с чужим человеком.

– Я неспроста осведомился о вашем имени, – беззаботно продолжал голос. – По моему мнению, всякое имя...

– Давайте я опять нажму кнопку, – прервал его Ганин.

– Нажимайте. Боюсь, не поможет. Так вот: всякое имя обязывает. Лев и Глеб – сложное, редкое соединение. Оно от вас требует сухости, твердости, оригинальности. У меня имя поскромнее; а жену зовут совсем просто: Мария. Кстати, позвольте представиться: Алексей Иванович Алферов. Простите, я вам, кажется, на ногу наступил.

– Очень приятно, – сказал Ганин, нащупывая в темноте руку, которая тыкалась ему в обшлаг. – А как вы думаете, мы еще тут долго проторчим? Пора бы что-нибудь предпринять. Чорт²...

– Сядем-ка на лавку да подождем, – опять зазвучал над самым его ухом бойкий и докучливый голос. – Вчера, когда я приехал, мы с вами столкнулись в коридоре. Вечером, слышу, за стеной вы прокашлялись, и сразу по звуку кашля решил: земляк. Скажите, вы давно живете в этом пансионе?

– Давно. Спички у вас есть?

– Нету. Не курю. А пансионат грязноват, – даром что русский. У меня, знаете, большое счастье: жена из России приезжает. Четыре года – шутка ль сказать... Да-с. А теперь недолго ждать. Нынче уже воскресенье.

– Тьма какая. – проговорил Ганин и хрустнул пальцами. – Интересно, который час...

Алферов шумно вздохнул; хлынул теплый, вялый запах не совсем здорового, пожилого мужчины. Есть что-то грустное в таком запахе.

– Значит, осталось шесть дней. Я так полагаю, что она в субботу приедет. Вот я вчера письмо от нее получил. Очень смешно она адрес написала. Жаль, что такая темень, а то показал бы. Что вы там шупаете, голубчик? Эти оконца не открываются.

– Я не прочь их разбить, – сказал Ганин.

– Бросьте, Лев Глебович; не сыграть ли нам лучше в какое-нибудь пти-жо? Я знаю удивительные, сам их сочиняю. Задумайте, например, какое-нибудь двухзначное число. Готово?

² В настоящем издании сохраняются некоторые особенности орфографии и транслитерации Набокова (написание слов чорт, счастье, свэтер, джампер, бэкон, лястик, танцовать, а также имен собственных, например, Карляйль, Генериффа).

– Увольте, – сказал Ганин и бухнул раза два кулаком в стенку.

– Швейцар давно поживает, – всплыл голос Алферова, – так что и стучать бесполезно.

– Но согласитесь, что мы не можем всю ночь проторчать здесь.

– Кажется, придется. А не думаете ли вы, Лев Глебович, что есть нечто символическое в нашей встрече? Будучи еще на terra firma³, мы друг друга не знали, да так случилось, что вернулись домой в один и тот же час и вошли в это помещенье вместе. Кстати сказать, – какой тут пол тонкий! А под ним – черный колодец. Так вот, я говорил: мы молча вошли сюда, еще не зная друг друга, молча поплыли вверх и вдруг – стоп. И наступила тьма.

– В чем же, собственно говоря, символ? – хмуро спросил Ганин.

– Да вот, в остановке, в неподвижности, в темноте этой. И в ожиданье. Сегодня за обедом этот, – как его... старый писатель... да, Подтягин... – спорил со мной о смысле нашей эмигрантской жизни, нашего великого ожиданья. Вы сегодня тут не обедали, Лев Глебович?

– Нет. Был за городом.

– Теперь – весна. Там, должно быть, приятно.

Голос Алферова на несколько мгновений пропал и, когда снова возник, был неприятно певуч, оттого что, говоря, Алферов, вероятно, улыбался:

– Вот когда жена моя придет, я тоже с нею поеду за город. Она обожает прогулки. Мне хозяйка сказала, что ваша комната к субботе освободится?

– Так точно, – сухо ответил Ганин.

– Совсем уезжаете из Берлина?

Ганин кивнул, забыв, что в темноте кивок не виден. Алферов поерзал на лавке, раза два вздохнул, затем стал тихо и сахаристо посвистывать. Помолчит и снова начнет. Прошло минут десять; вдруг наверху что-то щелкнуло.

– Вот это лучше, – усмехнулся Ганин.

В тот же миг вспыхнула в потолке лампочка, и вся загудевшая, поплывшая вверх клетка налилась желтым светом. Алферов, словно проснувшись, заморгал. Он был в старом, балахонистом, песочного цвета пальто, – как говорится, демисезонном, – и в руке держал котелок. Светлые редкие волосы слегка растрепались, и было что-то лубочное, слащаво-евангельское в его чертах – в золотистой бородке, в повороте тощей шеи, с которой он стягивал пестренький шарф.

Лифт тряско зацепился за порог четвертой площадки, остановился.

– Чудеса, – заулыбался Алферов, открыв дверь... – Я думал, кто-то наверху нас поднял, а тут никого и нет. Пожалуйте, Лев Глебович; за вами.

Но Ганин, поморщившись, легонько вытолкнул его и затем, выйдя сам, громыхнул в сердцах железной дверцей. Никогда он раньше не бывал так раздражителен.

– Чудеса, – повторял Алферов, – поднялись, а никого и нет. Тоже, знаете, – символ.

³ Твердая земля (*лат.*).

2

Пансион был русский и притом неприятный. Неприятно было главным образом то, что день-деньской и добрую часть ночи слышны были поезда городской железной дороги, и оттого казалось, что весь дом медленно едет куда-то. Прихожая, где висело темное зеркало с подставкой для перчаток и стоял дубовый баул, на который легко было наскочить коленом, суживалась в голый, очень тесный коридор. По бокам было по три комнаты с крупными, черными цифрами, наклеенными на дверях: это были просто листочки, вырванные из старого календаря, – шесть первых чисел апреля месяца. В комнате первоапрельской – первая дверь налево – жил теперь Алферов, в следующей – Ганин, в третьей – сама хозяйка, Лидия Николаевна Дорн, вдова немецкого коммерсанта, лет двадцать тому назад привезшего ее из Сарепты и умершего в позапрошлом году от воспаления мозга. В трех номерах направо – от четвертого по шестое апреля – жили: старый российский поэт Антон Сергеевич Подтягин, Клара – полногрудая барышня с замечательными синева-то-карими глазами, – и наконец – в комнате шестой, на сгибе коридора, – балетные танцовщики Колин и Горноцветов, оба по-женски смешливые, худенькие, с припудренными носами и мускулистыми ляжками. В конце первой части коридора была столовая, с литографической «Тайной Вечерью» на стене против двери и с рога-тыми желтыми оленьими черепами по другой стене, над пузатым буфетом, где стояли две хрустальных вазы, бывшие когда-то самыми чистыми предметами во всей квартире, а теперь потускневшие от пушистой пыли. Дойдя до столовой, коридор сворачивал под прямым углом направо: там дальше, в трагических и неблаговонных дебрях, находились кухня, каморка для прислуги, грязная ванная и туалетная келья, на двери которой было два пунцовых нуля, лишенных своих законных десятков, с которыми они составляли некогда два разных воскресных дня в настольном календаре господина Дорна. Спустя месяц после его кончины Лидия Николаевна, женщина маленькая, глуховатая и не без странностей, наняла пустую квартиру и обратила ее в пансион, выказав при этом необыкновенную, несколько жуткую, изобретательность в смысле распределения всех тех немногих предметов обихода, которые ей достались в наследство. Столы, стулья, скрипучие шкафы и ухабистые кушетки разбрелись по комнатам, которые она собралась сдавать, и, разлучившись таким образом друг с другом, сразу поблекли, приняли унылый и нелепый вид, как кости разобранного скелета. Письменный стол покойника, дубовая громада с железной чернильницей в виде жабы и с глубоким, как трюм, средним ящиком, оказался в первом номере, где жил Алферов, а вертящийся табурет, некогда приобретенный со столом этим вместе, сиротливо отошел к танцорам, жившим в комнате шестой. Чета зеленых кресел тоже разделилась: одно скучало у Ганина, в другом сживала сама хозяйка или ее старая такса, черная, толстая сучка с седою мордочкой и висячими ушами, бархатными на концах, как бахрома бабочки. А на полке, в комнате у Клары, стояло ради украшения несколько первых томов энциклопедии, меж тем как остальные тома попали к Подтягину. Кларе достался и единственный приличный умывальник с зеркалом и ящиками; в каждом же из других номеров был просто плотный поставец, и на нем жестяная чашка с таким же кувшином. Но вот кровати пришлось прикупить, и это госпожа Дорн сделала скрепя сердце, не потому что была скупа, а потому что находила какой-то сладкий азарт, какую-то хозяйственную гордость в том, как распределяется вся ее прежняя обстановка, и в данном случае ей досадно было, что нельзя распилить на нужное количество частей двухспальную кровать, на которой ей, вдове, слишком просторно было спать. Комнаты она убирала сама, да притом кое-как, стряпать же вовсе не умела и держала кухарку – грозу базара, огромную рыжую бабищу, которая по пятницам надевала малиновую шляпу и катила в северные кварталы промышлять своею соблазнительной тучностью. Лидия Николаевна в кухню входить боялась, да и вообще была тихая, пугливая особа. Когда она, семена тупыми ножками, пробегала по коридору, то жильцам казалось,

что эта маленькая, седая, курносая женщина вовсе не хозяйка, а так, просто глупая старушка, попавшая в чужую квартиру. Она складывалась как тряпичная кукла, когда по утрам быстро собирала щеткой сор из-под мебели, – и потом исчезала в свою комнату, самую маленькую из всех, и там читала какие-то потрепанные немецкие книжонки или же просматривала бумаги покойного мужа, в которых не понимала ни аза. Один только Подтягин заходил в эту комнату, поглаживал черную ласковую таксу, пощипывал ей уши, бородавку на седой мордочке, пытался заставить собачку подать кривую лапу и рассказывал Лидии Николаевне о своей стариковской, мучительной болезни и о том, что он уже давно, полгода, хлопочет о визе в Париж, где живет его племянница и где очень дешево длинные хрустящие булки и красное вино. Старушка кивала головой, иногда спрашивала его о других жильцах и в особенности о Ганине, который ей казался вовсе не похожим на всех русских молодых людей, перебивавших у нее в пансионе. Ганин, прожив у нее три месяца, собирался теперь съезжать, сказал даже, что освободит комнату в эту субботу, но собирался он уже несколько раз, да все откладывал, перерешал. И Лидия Николаевна со слов старого мягкого поэта знала, что у Ганина есть подруга. В том-то и была вся штука.

За последнее время он стал вял и угрюм. Еще так недавно он умел, не хуже японского акробата, ходить на руках, стройно вскинув ноги и двигаясь подобно парусу, умел зубами поднимать стул и рвать веревку на тугом бицепсе. В его теле постоянно играл огонь – желанье перемахнуть через забор, расшатать столб, словом – ахнуть, как говорили мы в юности. Теперь же ослабла какая-то гайка, он стал даже горбиться, и сам признавался Подтягину, что «как баба» страдает бессонницей. Плохо он спал и в ту ночь с воскресенья на понедельник, после двадцати минут, проведенных с развязным господином в застрявшем лифте. В понедельник утром он долго просидел нагишом, сцепив между колен протянутые холодноватые руки, ошеломленный мыслью, что и сегодня придется надеть рубашку, носки, штаны – всю эту потом и пылью пропитанную дрянь, – и думал о цирковом пуделе, который выглядит в человеческих одеждах до ужаса, до тошноты жалким. Отчасти эта вялость происходила от безделья. Особенно трудиться ему сейчас не приходилось, так как за зиму он накопил некоторую сумму, от которой, впрочем, оставалось теперь марок двести, не больше: эти три последних месяца обошлись дороговато.

В прошлом году, по приезде в Берлин, он сразу нашел работу и потом до января трудился – много и разнообразно: знал желтую темноту того раннего часа, когда едешь на фабрику; знал тоже, как ноют ноги после того, как десять извилистых верст пробежишь с тарелкой в руке между столиков в ресторане «Pig Gogo»; знал он и другие труды, брал на комиссию все, что подвернется, – и бублики, и бриллиантины, и просто бриллианты. Не брезговал он ничем: не раз даже продавал свою тень подобно многим из нас. Иначе говоря, ездил в качестве статиста на съемку, за город, где в балаганном сарае с мистическим писком закипали светом чудовищные facets фонарей, наведенных, как пушки, на мертвенно-яркую толпу статистов, палили в упор белым убийственным блеском, озаря крашеный воск застывших лиц, щелкнув, погасали, – но долго еще в этих сложных стеклах дотлевали красноватые зори – наш человеческий стыд. Сделка была совершена, и безмянные тени наши пушены по миру.

Оставшихся денег было бы достаточно, чтобы выехать из Берлина. Но для этого пришлось бы порвать с Людмилой, а как порвать – он не знал. И хотя он поставил себе сроком неделю и объявил хозяйке, что окончательно решил съехать в субботу, Ганин чувствовал, что ни эта неделя, ни следующая не изменят ничего. Меж тем тоска по новой чужбине особенно мучила его именно весной. Окно его выходило на полотно железной дороги, и потому возможность уехать дразнила неотвязно. Каждые пять минут сдержанным гулом начинал ходить дом, затем громада дыма вздымалась перед окном, заслоня белый берлинский день, медленно расплывалась, и тогда виден был опять веер полотна, суживающийся вдаль, между черных задних стен словно срезанных домов, и над всем этим небо, бледное, как миндальное молоко.

Ганину было бы легче, если бы он жил по ту сторону коридора, в комнате Подтяги́на, Клары или танцоров; окна там выходили на скучноватую улицу, поперек которой висел, правда, железнодорожный мост, но где не было зато бледной, заманчивой дали. Мост этот был продолженьем рельс, видимых из окна Ганина, и Ганин никогда не мог отделаться от чувства, что каждый поезд проходит незримо сквозь толщу самого дома: вот он вошел с той стороны, прозрачный гул его расшатывает стену, толчками пробирается он по старому ковру, задевает стакан на рукомо́йнике, уходит наконец с холодным звоном в окно, – и сразу за стеклом вырастает туча дыма, спадает, и виден городской поезд, изверженный домом: тускло-оливковые вагоны с темными сучьими сосками вдоль крыш и куций паровоз, что, не тем концом прицепленный, быстро пятится, оттягивает вагоны в белую даль между слепых стен, сажная чернота которых местами облупилась, местами испещрена фресками устарелых реклам. Так и жил весь дом на железном сквозняке.

«Уехать бы», – тоскливо потягивался Ганин и сразу осекался: а как же быть-то с Людмилой? Ему было смешно, что он так обмяк. В прежнее время (когда он ходил на руках или же прыгал через пять стульев) он умел не только управлять, но и играть силой своей воли. Бывало, он упражнял ее, заставлял себя, например, встать с постели среди ночи, чтобы выйти на улицу и бросить в почтовый ящик окурок. А теперь он не мог заставить себя сказать женщине, что он ее больше не любит. Третьего дня она пять часов просидела у него; вчера, в воскресенье, он целый день провел с нею на озерах под Берлином, не мог ей отказать в этой дурацкой поездке. Ему теперь все противно было в Людмиле: желтые лохмы, по моде стриженные, две дорожки невыбритых темных волосков сзади на узком затылке, томная темнота век, а главное – губы, покрашенные до лилового лоску. Ему противно и скучно было, когда после схватки механической любви она, одеваясь, щурилась, отчего глаза ее сразу делались неприятно-мохнатыми, и говорила: «Я, знаешь, такая чуткая, что отлично замечу, как только ты станешь любить меня меньше». Ганин не отвечал, отворачивался к окну, где вырастала белая стена дыма, и тогда она посмеивалась в нос и глуховатым шепотком подзывала: «Ну, поди сюда...» Тогда ему хотелось заломить руки, так, чтобы сладко и тоскливо хрустнули хрящи, и спокойно сказать ей: «Убирайся-ка, матушка, прощай». Вместо этого он улыбался, склонялся к ней. Она бродила острыми, словно фальшивыми, ногтями по его груди и выпучивала губы, моргала угольными ресницами, изображая, как ей казалось, обиженную девочку, капризную маркизу. Он чувствовал запах ее духов, в котором было что-то неопрятное, несвежее, пожилое, хотя ей самой было всего двадцать пять лет. Он дотрагивался губами до ее маленького, теплого лба, и тогда она все забывала – ложь свою, которую она, как запах духов, всюду влачила за собой, ложь детских словечек, изысканных чувств, орхидей каких-то, которые она будто бы страстно любит, каких-то По и Бодлеров, которых она не читала никогда, забывала все то, чем думала пленить, и модную желтизну волос, и смугловатую пудру, и шелковые чулки поросычьего цвета, – и всем своим слабым, жалким, ненужным ему телом припадала к Ганину, закинув голову.

И, тоскуя и стыдясь, он чувствовал, как бессмысленная нежность – печальная теплота, оставшаяся там, где очень мимолетно скользнула когда-то любовь, – заставляет его прижматься без страсти к пурпурной резине ее поддающихся губ, но нежностью этой не был заглушен спокойный насмешливый голос, ему советовавший: «А что, мол, если вот сейчас отшвырнуть ее?»

Вздохнув, он с тихой улыбкой глядел на ее поднятое лицо и ничего не мог ей ответить, когда, вцепившись ему в плечи, она летучим каким-то голосом – не тем прежним носовым шепотком – молила, вся улетала в слова: «Да скажи ты мне наконец – ты меня любишь?» Но, заметив что-то в его лице – знакомую тень, невольную суровость, – она опять вспоминала, что нужно очаровывать – чуткостью, духами, поэзией, – и принималась опять притворяться то бедной девочкой, то изысканной куртизанкой. И Ганину становилось скучно опять, он шагал

вдоль комнаты от окна к двери и обратно, до слез позевывал, и она, надевая шляпу, искоса в зеркало наблюдала за ним.

Клара, полногрудая, вся в черном шелку, очень уютная барышня, знала, что ее подруга бывает у Ганина, и ей становилось тоскливо и неловко, когда та рассказывала ей о своей любви. Кларе казалось, что эти чувства должны быть тише, без ирисов и скрипичных вскриков. Но еще невыносимее было, когда подруга, шурясь и выпуская сквозь ноздри папиросный дым, начинала ей передавать еще не остывшие, до ужаса определенные подробности, после которых Клара видела чудовищные и стыдные сны. И последнее время она избегала Людмилу из боязни, что подруга вконец ей испортит то огромное и всегда праздничное, что зовется смазливym словом «мечта». Острое, несколько надменное лицо Ганина, его серые глаза с блестящими стрелками, расходящимися вокруг особенно крупных зрачков, и густые, очень темные брови, составлявшие, когда он хмурился или внимательно слушал, одну сплошную черную черту, но зато распахивавшиеся, как легкие крылья, когда редкая улыбка обнажала на миг его прекрасные, влажно-белые зубы, эти резкие черты так нравились Кларе, что она в его присутствии терялась, говорила не так, как говорить бы хотела, да все похлопывала себя по каштановой волне прически, наполовину прикрывавшей ухо, или же поправляла на груди черные складки, отчего сразу у нее выдавалась вперед нижняя губа и намечался второй подбородок. Впрочем, с Ганиным она встречалась не часто, раз в день за обедом, и только однажды ужинала с ним и с Людмилой в той скверной пивной, где он по вечерам ел сосиски с капустой или холодную свинину. За обедом в унылой пансионной столовой она сидела против Ганина, так как хозяйка разместила своих жильцов приблизительно в том же порядке, в каком находились их комнаты: таким образом, Клара сидела между Подтягиным и Горноцветовым, а Ганин между Алферовым и Колиным. Маленькая, черная, меланхолически-чопорная фигура самой госпожи Дорн в конце стола, между обращенных друг к другу через стол профилей напудренных, жеманных танцоров, которые быстро-быстро с какими-то птичьими ужимками заговаривали с ней, казалась очень неуместной, жалкой и потерянной. Она сама говорила мало, стесненная своей легкой глухотой, и только следила, чтобы громадная Эрика вовремя приносила и уносила тарелки. И то и дело ее крошечная, морщинистая рука, как сухой лист, взлетала к висячему звонку и спадала опять, мелькнув блеклой желтизной.

Когда в понедельник, около половины третьего, Ганин вошел в столовую, все уже были в сборе. Алферов, увидя его, приветливо улыбнулся, привстал, но Ганин руки не подал и, молча кивнув, занял свое место рядом с ним, заранее проклиная прилипчивого соседа. Подтягин, опрятный скромный старик, который не ел, а кушал, шумно присасывая и придерживая левой рукой салфетку, заткнутую за воротник, посмотрел поверх стекол пенсне на Ганина и потом с неопределенным вздохом снова принялся за суп. Ганин в минуту откровенности как-то рассказал ему о тяжелой Людминой любви и теперь жалел об этом. Колин, его сосед слева, передал ему с дрожащей осторожностью тарелку супу и при этом взглянул на него так вкрадчиво, так улыбнулись его странные, с поволокой, глаза, что Ганину стало неловко. Меж тем справа уже бежал маслом смазанный тенорок Алферова, возражавшего на что-то сказанное Подтягиным, сидевшим против него.

– Напрасно хаете, Антон Сергеевич. Культурнейшая страна. Не чета нашей сторонушке.

Подтягин ласково блеснул стеклами и обратился к Ганину:

– Поздравьте меня, сегодня мне прислали визу. Прямо хоть орденскую ленту надевай да к президенту в гости.

У него был необыкновенно приятный голос, тихий, без всяких повышений, звук мягкий и матовый. Полное, гладкое лицо, с седой щеточкой под самой нижней губой и с отступающим подбородком, было как будто покрыто сплошным красноватым загаром, и ласковые морщинки отходили от ясных, умных глаз. В профиль он был похож на большую поседевшую морскую свинку.

– Очень рад, – сказал Ганин. – Когда же вы едете?

Но Алферов не дал старику ответить и продолжал, дергая по привычке шеей, тощей, в золотистых волосках, с крупным прыгающим кадыком:

– Я советую вам здесь остаться. Чем тут плохо? Это, так сказать, прямая линия. Франция скорее зигзаг, а Россия наша, та – просто загогулина. Мне очень нравится здесь: и работать можно, и по улицам ходить приятно. Математически доказываю вам, что если уже где-нибудь житьствовать...

– Но я же говорю вам, – мягко прервал Подтягин, – горы бумаг, гроба картонные, папки, папки без конца! Полки под ними так и ломаются. И полицейский чиновник, пока отыскал мою фамилию, чуть не подох от натуги. Вы вообще не можете себе и представить (при словах «и представить» Подтягин тяжело и жалобно повел головой), сколько человеку нужно перестрадать, чтобы получить право на выезд отсюда. Одних бланков сколько я заполнил. Сегодня уж думал – стукнут мне выездную визу... Куда там... Послали сниматься, а карточки только вечером будут готовы.

– Очень все правильно, – закивал Алферов, – так и должно быть в порядочной стране. Тут вам не российский кавардак. Вы обратили внимание, например, что на парадных дверях написано? «Только для господ». Это знаменательно. Вообще говоря, разницу между, скажем, нашей страной и этой можно так выразить: вообразите сперва кривую, и на ней...

Ганин, не слушая дальше, обратился к Кларе, сидевшей против него:

– Меня вчера просила Людмила Борисовна вам передать, чтоб вы ей позвонили, как только вернетесь со службы. Это насчет кинематографа, кажется.

Клара растерянно подумала: «Как он это так просто говорит о ней... Ведь он знает, что я знаю...»

Она спросила ради приличия:

– Ах, вы ее вчера видели?

Ганин удивленно двинул бровями и продолжал есть.

– Я не совсем понимаю вашу геометрию, – тихо говорил Подтягин, осторожно счищая ножиком хлебные крошки себе в ладонь. Как большинство стареющих поэтов, он был склонен к простой человеческой логике.

– Да как же, это так ясно, – взволновался Алферов, – вообразите...

– Не понимаю, – твердо повторил Подтягин и, откинув слегка голову, всыпал собранные крошки себе в рот.

Алферов быстро развел руками, сшиб стакан Ганина:

– Ах, извините!..

– Пустой, – сказал Ганин.

– Вы не математик, Антон Сергеич, – суетливо продолжал Алферов. – А я на числах, как на качелях, всю жизнь прокачался. Бывало, говорил жене: раз я математик, ты мать-и-мачеха...

Горноцветов и Колин залились тонким смехом. Госпожа Дорн вздрогнула, испуганно посмотрела на обоих.

– Одним словом: цифра и цветок, – холодно сказал Ганин. Только Клара улыбнулась. Ганин стал наливать себе воды, все смотрели на его движение.

– Да, вы правы, нежнейший цветок, – протяжно сказал Алферов, окинув соседа своим блестящим, рассеянным взглядом. – Прямо чудо, как она пережила эти годы ужаса. Я вот уверен, что она приедет сюда цветущая, веселая... Вы – поэт, Антон Сергеевич, опишите-ка такую штуку – как женственность, прекрасная русская женственность, сильнее всякой революции, переживает все – невзгоды, террор...

Колин шепнул Ганину: «Вот он опять... Вчера уже только и было речи, что об его жене...»

«Экий пошляк, – подумал Ганин, глядя на движущуюся бородку Алферова, – а жена у него, верно, шустрая... Такому не изменять – грех...»

– Сегодня – барашек, – провозгласила вдруг Лидия Николаевна деревянным голосом, исподлобья глядя, как жильцы ее невнимательно едят жаркое. Алферов почему-то поклонился и продолжал:

– Напрасно, батюшка, не берете такой темы. – (Подтягин мягко, но решительно мотал головой.) – Может быть, когда увидите мою жену, то поймете, что я хочу сказать... Кстати, она очень любит поэзию. Столкуетесь. И я вам вот еще что скажу...

Колин украдкой отбивал такт, искоса поглядывая на Алферова. Горноцветов тихо показывался со смеху, глядя на палец своего друга.

– А главное, – все тараторил Алферов, – ведь с Россией – кончено. Смыли ее, как вот, знаете, если мокрой губкой мазнуть по черной доске, по нарисованной роже...

– Однако... – усмехнулся Ганин.

– Не любо слушать, Лев Глебович?

– Не любо, но не мешаю, Алексей Иванович.

– Что же, вы тогда считаете, может быть, что.

– Ах, господа, – своим матовым, чуть шепелявым голосом перебил Подтягин, – без политики. Зачем политика?

– А все-таки мсье Алферов не прав, – неожиданно вставила Клара и проворно поправила прическу.

– Ваша жена приезжает в субботу? – через весь стол невинным голосом спросил Колин, и Горноцветов прыснул в салфетку.

– В субботу, – ответил Алферов, отставляя тарелку с недоеденной бараниной. Его глаза, заблеставшие было воинственным огоньком, сразу задумчиво погасли.

– Знаете что, Лидия Николаевна, – сказал он, – мы вчера с Глеб Львовичем в лифте застряли.

– Компот, – ответила госпожа Дорн, – грушевый.

Танцоры расхохотались. Эрика, толкая боками локти сидевших за столом, стала убирать тарелки. Ганин тщательно свернул салфетку, втиснул ее в кольцо и встал. Сладкого он не ел.

«Тощица какая... – думал он, возвращаясь в свою комнату. – И что мне теперь делать? Выйти погулять, что ли?...»

Этот день его, как и предыдущие, прошел вяло, в какой-то безвкусной праздности, лишенной мечтательной надежды, которая делает праздник прелестной. Бездействие теперь его тяготило, а дела не было. Подняв воротник старого макинтоша, купленного за один фунт у английского лейтенанта в Константинополе, и крепко засунув кулаки в карманы, он медленно, вразвалку, пошатался по бледным апрельским улицам, где плыли и качались черные купола зонтиков, и долго смотрел в витрину пароходного общества на чудесную модель «Мавритании», на цветные шнуры, соединяющие гавани двух материков на большой карте. И в глубине была фотография тропической роши – шоколадного цвета пальмы на бледно-коричневом небе.

Он с час попивал кофе, сидя у чистого огромного окна, и смотрел на прохожих. Вернувшись домой, он пробовал читать, но то, что было в книге, показалось ему таким чужим и неуместным, что он бросил ее посередине придаточного предложения. На него нашло то, что он называл «рассеянье воли». Он сидел не шевелясь перед столом и не мог решить, что ему делать: переменить ли положение тела, встать ли, чтобы пойти вымыть руки, отворить ли окно, за которым пасмурный день уже переходил в сумерки... Это было мучительное и страшное состояние, несколько похожее на ту тяжкую тоску, что охватывает нас, когда, уже выйдя из сна, мы не сразу можем раскрыть словно навсегда слипшиеся веки. Так и Ганин чувствовал, что мутные сумерки, которыми постепенно наливалась комната, заполняют его всего, претворяют самую кровь в туман, что нет у него сил пресечь сумеречное наваждение. А сил не было потому, что не было у него определенного желанья, и мученье было именно в том, что он тщетно искал желанья. Он не мог принудить себя протянуть руку к лампе, чтобы включить

свет. Ему казался невысказанным чудом этот простой переход от намеренья к его осуществлению. Ничто не украшало его бесцветной тоски, мысли ползли без связи, сердце билось тихо, белье докучливо липло к телу. То казалось ему, что вот сейчас нужно написать к Людмиле письмо, твердо объяснить ей, что пора прервать этот тусклый роман, то вспоминалось ему, что вечером нужно с ней идти в кинематограф, и почему-то было гораздо труднее решиться позвонить, чтобы отказаться от сегодняшней встречи, нежели написать письмо, и потому он не мог исполнить ни того ни другого.

А сколько раз уже он клялся себе, что завтра же с нею порвет, придумывал без труда нужные выражения, но никак не мог себе представить вот ту последнюю минуту, когда пожмет ей руку и спокойно выйдет из комнаты. Вот это движение – повернуться, уйти – казалось невысказанным. Он был из породы людей, которые умеют добиваться, достигать, наступать, но совершенно не способны ни к отречению, ни к бегству, – что в конце концов одно и то же. Так мешались в нем чувство чести и чувство жалости, отуманивая волю этого человека, способного в другое время на всякие творческие подвиги, на всякий труд и принимающегося за этот труд жадно, с охотой, с радостным намерением все одолеть и всего достичь.

Он не знал, какой толчок извне должен произойти, чтобы дать ему силы порвать трехмесячную связь с Людмилой, так же как не знал, что именно должно случиться, чтобы он мог встать со стула. Очень недолго продолжалось подлинное его увлечение, то состояние его души, при котором Людмила ему представлялась в обольстительном тумане, состоянии ищущего, высокого, почти неземного волнения, подобное музыке, играющей именно тогда, когда мы делаем что-нибудь совсем обыкновенное – идем от столика к буфету, чтобы расплатиться, – и превращающей это наше простое движение в какой-то внутренний танец, в значительный и бессмертный жест.

Эта музыка смолкла в тот миг, когда ночью, на тряском полу темного таксомотора, Людмила ему отдалась, и сразу все стало очень скучным – женщина, поправлявшая шляпу, что съехала ей на затылок, огни, мелькавшие мимо окон, спина шофера, горой черневшая за передним стеклом.

Теперь приходилось расплачиваться за эту ночь трудным обманом, продолжать эту ночь без конца и бессильно, безвольно предаваться ее ползучей тени, которая теперь насытила все углы комнаты, превратила мебель в облака. Он впал в туманную дремоту, подперев лоб ладонью и странно вытянув под столом одеревеневшие ноги.

* * *

А потом, в кинематографе, сталолюдно и жарко. Очень долго молча, без музыки, по экрану мелькали крашенные рекламы, рояли, платья, духи. Наконец заиграл оркестр, и началась драма.

Людмила была весела необычайно. Она пригласила Клару пойти вместе, оттого что отлично чувствовала, что той нравится Ганин, и хотела доставить удовольствие и ей, и самой себе, шегольнуть своим романом и умением его скрывать. Клара же согласилась пойти, оттого что знала, что Ганин в субботу собирается уезжать, и между прочим удивлялась, что Людмила словно об этом не знает, – или, может быть, нарочно ничего не говорит, а уедет с ним вместе.

Ганин, сидевший между ними, был раздражен тем, что Людмила, как большинство женщин ее типа, все время, пока шла картина, говорила о посторонних вещах, перегибалась через колени Ганина к подруге, обдавая его каждый раз холодным, неприятно-знакомым запахом духов. Меж тем картина была занимательная, прекрасно сделанная.

– Послушайте, Людмила Борисовна, – не выдержал наконец Ганин, – перестаньте шептать. Уже немец за мной сердится.

Она в темноте быстро глянула на него, откинулась, посмотрела на сияющее полотно:

– Я ничего не понимаю, сплошная чепуха какая-то.

– Вольно было вам шептать, – сказал Ганин. – Немудрено, что ничего не понимаете.

На экране было светящееся, сизое движение: примадонна, совершившая в жизни своей невольное убийство, вдруг вспоминала о нем, играя в опере роль преступницы, и, выкатив огромные неправдоподобные глаза, валилась навзничь на подмости. Медленно проплыла зала театра, публика рукоплещет, ложи и ряды встают в экстазе одобренья. И внезапно Ганину помешалось что-то смутно и жутко знакомое. Он с тревогой вспомнил грубо сколоченные ряды, сиденья и барьеры лож, выкрашенные в зловещий фиолетовый цвет, ленивых рабочих, вольно и равнодушно, как синие ангелы, переходивших с балки на балку высоко наверху или наводивших слепительные жерла юпитеров на целый полк россиян, согнанный в громадный сарай и снимавшийся в полном неведении относительно общей фабулы картины. Он вспомнил молодых людей в поношенных, но на диво сшитых одеждах, лица дам в лиловых и желтых разводах грима и тех безобидных изгнанников, старичков да невзрачных девиц, которых сажали в самую глубь, лишь для заполнения фона. Теперь внутренность того холодного сарая превратилась на экране в уютный театр, рогожа стала бархатом, нищая толпа – театральной публикой. Он напряг зрение и с пронзительным содроганьем стыда узнал себя самого среди этих людей, хлопавших по заказу, и вспомнил, как они все должны были глядеть вперед, на воображаемую сцену, где никакой примадонны не было, а стоял на помосте, среди фонарей, толстый рыжий человек без пиджака и до одури орал в рупор.

Двойник Ганина тоже стоял и хлопал, вон там, рядом с чернобородым, очень эффектным господином, с лентой поперек белой груди. Он попадал всегда в первый ряд за эту вот бородку и крахмальное белье, а в перерывах жевал бутерброд, а потом, после съемки, надевал поверх фрака убогое пальтишко и ехал к себе домой, в отдаленную часть Берлина, где работал наборщиком в типографии.

И Ганин в этот миг почувствовал не только стыд, но и быстротечность, неповторимость человеческой жизни. Там, на экране, его худощавый облик, острое, поднятое кверху лицо и хлопавшие руки исчезли в сером круговороте других фигур, а еще через мгновение зал, повернувшись как корабль, ушел, и теперь показывали пожилую, на весь мир знаменитую актрису, очень искусно изображавшую мертвую молодую женщину. «Не знаем, что творим», – с отвращением подумал Ганин, уже не глядя на картину.

Людмила снова шепталась с Кларой – о какой-то портнихе, материи, – драма подходила к концу, и Ганину было смертельно скучно. Когда через несколько минут они пробирались к выходу, Людмила к нему прижалась, шепнула: «Позвоню тебе завтра в два, миленький...»

Ганин и Клара проводили ее до дому и потом вместе пошли в свой пансион. Ганин молчал, и Клара мучительно старалась найти тему для разговора.

– Вы, говорят, в субботу уезжаете? – спросила она.

– Не знаю, ничего не знаю... – хмуро ответил Ганин.

Он шел и думал, что вот теперь его тень будет странствовать из города в город, с экрана на экран, что он никогда не узнает, какие люди увидят ее и как долго она будет мыкаться по свету. И когда потом он лег в постель и слушал поезда, насквозь проходившие через этот унылый дом, где жило семь русских потерянных теней, – вся жизнь ему представилась той же съемкой, во время которой равнодушный статист не ведает, в какой картине он участвует.

Ганин не мог уснуть; в ногах бегали мурашки, и подушка мучила голову. И среди ночи, за стеной, его сосед Алферов стал напевать. Сквозь тонкую стену слышно было, как он шлепает по полу, то близясь, то удаляясь, и Ганин лежал и злился. Когда прокатывала дрожь поезда, голос Алферова смешивался с гулом, а потом снова всплывал: ту-у-у, ту-ту, ту-у-у.

Ганин не выдержал. Он натянул штаны, вышел в коридор и кулаком постучал в дверь первого номера. Алферов, среди блужданья своего, оказался как раз против двери и сразу отпахнул ее, так что Ганин даже вздрогнул от неожиданности.

– Пожалуйста, Лев Глебович, милости просим.

Он был в сорочке и подштанниках, золотистая бородка слегка растрепалась – оттого, верно, что он песенки выдувал, – и в бледно-голубых глазах так и металось счастье.

– Вы вот поете, – сказал Ганин, сдвинув брови, – а мне это мешает спать.

– Да входите же, голубчик, что это вы, право, на пороге топчетесь, – засуетился Алексей Иванович, неловко и ласково беря Ганина за талию. – Простите великодушно, если мешал.

Ганин неохотно вошел в комнату. В ней было очень мало вещей и очень много беспорядка. Один из двух стульев, вместо того чтобы стоять у письменного стола (той дубовой махины, на которой была чернильница в виде большой жабы), забрел было в сторону маленького умывальника, но на полпути остановился, видимо спотыкнувшись об отвернутый край зеленого коврика. Другой стул, что стоял у постели и служил ночным столиком, исчезал под черным пиджаком, павшим на него словно с Арарата, так он тяжело и рыхло сел. На дубовой пустыне стола, а также на постели разбросаны были тонкие листы. На этих листах Ганин мельком заметил карандашные чертежи, колеса, квадраты, сделанные без всякой технической точности, а так, кое-как, ради препровождения времени. Сам Алферов в своих теплых подштанниках, делающих всякого мужчину, будь он строен как Адонис и изящен как Бруммель, необыкновенно непривлекательным, уже опять расхаживал среди этого комнатного бурелома, щелкая ногтем то по зеленому колпаку настольной лампы, то по спинке стула.

– Я страшно рад, что вы наконец ко мне заглянули, – говорил он, – сам-то я не в состоянии спать. Подумайте, – в субботу моя жена приезжает. А завтра уже вторник... Бедняжка моя, представляю, как она измучилась в этой проклятой России!

Ганин, который хмуρο разглядывал шахматную задачу, набросанную на одном из листов, валявшихся на постели, вдруг поднял голову:

– Как вы сказали?

– Приезжает, – бойко щелкнул ногтем Алферов.

– Нет, не то... Как вы про Россию сказали?

– Проклятая. А что, разве не правда?

– Нет, так, – занятный эпитет.

– Эх, Лев Глебович, – остановился вдруг посреди комнаты Алферов. – Полно вам большевика ломать. Вам это кажется очень интересным, но, поверьте, это грешно с вашей стороны. Пора нам всем открыто заявить, что России капут, что «богоносец» оказался, как, впрочем, можно было ожидать, серой сволочью, что наша родина, стало быть, навсегда погибла.

Ганин рассмеялся:

– Конечно, конечно, Алексей Иванович.

Алферов помазал ладонью сверху вниз по блестящему лицу и улыбнулся вдруг широкой мечтательной улыбкой:

– Отчего вы не женаты, дорогой мой. А?

– Не пришлось, – отвечал Ганин. – Это весело?

– Роскошно. Моя жена – прелесть. Брюнетка, знаете, глаза этикие живые... Совсем молоденькая. Мы женились в Полтаве, в девятнадцатом году, а в двадцатом мне пришлось бежать: вот здесь у меня в столе карточки, – покажу вам.

Он снизу, согнутой пятерней, вытолкнул широкий ящик.

– Чем вы тогда были, Алексей Иванович? – без любопытства спросил Ганин.

Алферов покачал головой:

– Не помню. Разве можно помнить, чем был в прошлой жизни, – быть может, устрицей или, скажем, птицей, а может быть, учителем математики. Превенная жизнь в России так и кажется мне чем-то довременным, метафизическим, или, как это... другое слово, – да, – метампсихозой...

Ганин довольно равнодушно рассматривал снимок в открытом ящике. Это было лицо растрепанной молодой женщины с веселым, очень зубастым ртом. Алферов наклонился через его плечо:

– Нет, это не жена, это моя сестрица. От тифа умерла, в Киеве. Хорошая была, хохотунья, мастерица в пятнашки играть...

Он придвинул другой снимок:

– А вот это Машенька, жена моя. Плохая фотография, но все-таки похоже. А вот другая, в саду нашем снято. Машенька – та, что сидит в светлом платье. Четыре года не видел ее. Но не думаю, чтобы особенно изменилась. Прямо не знаю, как доживу до субботы... Стойте... Куда вы, Лев Глебович? Посидите еще!..

Ганин, глубоко засунув руки в карманы штанов, шел к двери.

– Лев Глебович! Что с вами? Обидел я вас чем-нибудь? – Дверь захлопнулась. Алферов остался стоять один посреди комнаты. – Все-таки... какой невежа, – пробормотал он. – Что за муха его укусила?

3

В эту ночь, как всегда, старичок в черной пелерине брел вдоль самой панели по длинному пустынному проспекту и тыкал острием сучковатой палки в асфальт, отыскивая табачные кончики – золотые, пробковые и просто бумажные, – а также слоистые окурки сигар. Изредка, вскрикнув оленьим голосом, промахивал автомобиль, или случалось то, что ни один городской пешеход не может заметить, – падала, быстрее мысли и беззвучнее слезы, звезда. Ярче, веселее звезд были огненные буквы, которые высыпали одна за другой над черной крышей, семенили гуськом и разом пропадали во тьме.

«Неужели... это... возможно...» – огненным осторожным шепотом проступали буквы, и ночь одним бархатным ударом смахивала их. «Неужели... это...» – опять начинали они, крадясь по небу.

И снова наваливалась темнота. Но они настойчиво разгорались и наконец, вместо того чтобы исчезнуть сразу, остались сиять на целых пять минут, как и было условлено между бюро электрических реклам и фабрикантом.

Впрочем, черт его знает, что на самом деле играло там, в темноте, над домами, световая ли реклама, или человеческая мысль, знак, зов, вопрос, брошенный в небо и получающий вдруг самоцветный, восхитительный ответ.

А по улицам, ставшим широкими, как черные блестящие моря, в этот поздний час, когда последний кабак закрывается и русский человек, забыв о сне, без шапки, без пиджака, под старым макинтошем, как ясновидящий, вышел на улицу блуждать, – в этот поздний час по этим широким улицам расхаживали миры друг другу неведомые – не гуляка, не женщина, не просто прохожий, – а наглухо заколоченный мир, полный чудес и преступлений. Пять извозчичьих пролеток стояли вдоль бульвара рядом с огромным барабаном уличной уборной, – пять сонных, теплых, седых миров в кучерских ливреях, и пять других миров на больных копытах, спящих и видящих во сне только овес, что с тихим треском льется из мешка.

Бывают такие мгновения, когда все становится чудовищным, бездонно-глубоким, когда, кажется, так страшно жить и еще страшнее умереть. И вдруг, пока мчишься так по ночному городу, сквозь слезы глядя на огни и ловя в них дивное ослепительное воспоминанье счастья, – женское лицо, всплывшее опять после многих лет житейского забвенья, – вдруг, пока мчишься и безумствуешь так, вежливо остановит тебя прохожий и спросит, как пройти на такую-то улицу, – голосом обыкновенным, но которого уже никогда больше не услышишь.

4

Во вторник, поздно проснувшись, он почувствовал некоторую ломоту в ногах и, облокотившись на подушку, раза два с тревожным, изумленным блаженством вздохнул, вспомнив, что вчера случилось.

Утро было белое, нежное, дымное. Деловитым гулом дрожали стекла.

Он решительным махом соскочил с постели и принялся бриться. Сегодня он находил в этом особое удовольствие. Кто бреется, тот каждое утро молодеет на день. Ганину сегодня казалось, что он помолодел ровно на девять лет.

Щетина на вытянутой коже, размягченная хлопьями пены, равномерно похрустывала и сходила под стальным плужком бритвы. Бреясь, Ганин поводил бровями, а потом, когда обливался из кувшина холодной водой, радостно улыбался. Он пригладил на темени влажные темные волосы, быстро оделся и вышел на улицу.

В пансионе никого из жильцов не оставалось, кроме танцоров, которые обыкновенно вставали только к обеду: Алферов отправился к знакомому, с которым затевал конторское дело, Подтягин поехал в полицейский участок добиваться выездной визы, Клара, уже опоздавшая на службу, ждала трамвая на углу, прижав к груди бумажный мешок с апельсинами.

А Ганин, без волнения, поднялся на второй этаж в знакомом ему доме, дернул кольцо звонка. Отперев дверь, но не сняв внутренней цепочки, высунулась горничная и сказала, что госпожа Рубанская еще спит.

– Все равно, мне нужно ее видеть, – спокойно сказал Ганин и, просунув в скважину руку, сам снял цепочку.

Горничная, коренастая бледная девушка, с негодованием что-то забормотала, но Ганин все так же решительно, отстранив ее локтем, прошел в полусумрак коридора и стукнул в дверь.

– Кто там? – раздался хриловатый утренний голос Людмилы.

– Я, отопри.

Она простукала босыми пятками к двери, повернула ключ и, раньше чем посмотреть на Ганина, побежала обратно к постели, прыгнула под одеяло. По кончику уха видно было, что она в подушку улыбается, ждет, чтобы Ганин к ней подошел.

Но он остановился посреди комнаты и так простоял довольно долго, бренча мелкими монетами в карманах макинтоша.

Людмила вдруг перевернулась на спину и смеясь распахнула голые худенькие руки. Утро к ней не шло: лицо было бледное, опухшее, и желтые волосы стояли дыбом.

– Ну же, – протянула она и зажмурилась.

Ганин перестал бренчать.

– Вот что, Людмила, – сказал он тихо.

Она привстала, широко открыв глаза:

– Что-нибудь случилось?

Ганин пристально посмотрел на нее и ответил:

– Да. Я, оказывается, люблю другую женщину. Я пришел с тобой проститься.

Она заморгала спутанными своими ресницами, прикусила губу.

– Это, собственно, все, – сказал Ганин. – Мне очень жаль, но ничего не поделаешь. Мы сейчас простимся. Я полагаю, что так будет лучше.

Людмила, закрыв лицо, опять пала ничком в подушку. Лазурное стеганое одеяло стало косо сползать с ее ног на белый мохнатый коврик. Ганин поднял, поправил его. Потом прошелся раза два по комнате.

– Горничная не хотела меня впускать, – сказал он.

Людмила, уткнувшись в подушку, лежала как мертвая.

– Вообще говоря, – сказал Ганин, – она какая-то неприветливая.

– Пора перестать топить. Весна, – сказал он немного погодя. Прошел от двери к белому трюмо, потом надел шляпу.

Людмила все не шевелилась. Он еще постоял, поглядел на нее молча и, издав горлом легкий звук, как будто хотел откашляться, вышел из комнаты.

Стараясь ступать тихо, он быстро прошел по длинному коридору, ошибся дверью, попал с размаху в ванную комнату, откуда хлынула волосатая рука и львиный рык, круто повернул и, столкнувшись опять с коренастой горничной, которая терла тряпкой бронзовый бюст в прихожей, стал спускаться в последний раз по отлогой каменной лестнице. На площадке громадная рама окна, выходящего на задний двор, была отпахнута, и во дворе бродячий баритон ревел по-немецки «Стеньку Разина».

И, послушав по-весеннему дрожавший голос и взглянув на роспись открытого стекла – куст кубических роз и павлиний веер, – Ганин почувствовал, что свободен.

Он медленно шел по улице, курая на ходу. День был холодноватый, молочный; белые растрепанные облака поднимались навстречу ему в голубом пролете между домов. Он всегда вспоминал Россию, когда видел быстрые облака, но теперь он вспомнил бы ее и без облаков: с минувшей ночи он только и думал о ней.

То, что случилось в эту ночь, то восхитительное событие души, переставило световые призмы всей его жизни, опрокинуло на него прошлое.

Он сел на скамейку в просторном сквере, и сразу трепетный и нежный спутник, который его сопровождал, разлегся у его ног сероватой весенней тенью, заговорил.

И теперь, после исчезновения Людмилы, он свободен был слушать его...

Девять лет тому назад... Лето, усадьба, тиф... Удивительно приятно выздоравливать после тифа. Лежишь словно на волне воздуха; еще, правда, побаливает селезенка, и выписанная из Петербурга сиделка трет тебе язык по утрам – вязкий после сна – ватой, пропитанной портвейном. Сиделка очень низенького роста, с мягкой грудью, с проворными короткими руками, и идет от нее сыроватый запах, стародевичья прохлада. Она любит прибаутки, японские словечки, оставшиеся у нее от войны четвертого года. Лицо с кулачок, бабье, щербатое, с острым носиком, и ни один волосок не торчит из-под косынки.

Лежишь словно на воздухе. Постель слева отгорожена от двери камышовой ширмой, сплошь желтой, с плавными сгибами. Направо, совсем близко, в углу – киот: смуглые образа за стеклом, восковые цветы, коралловый крестик. Два окна, – одно прямо напротив, но далеко: постель будто отталкивается изголовьем от стены и метит в него медными набалдашниками изножья, в каждом из которых пузырек солнца, метит и вот тронется, поплывет через всю комнату в окно, в глубокое июльское небо, по которому наискось поднимаются рыхлые, сияющие облака. Второе окно, в правой стене, выходит на зеленоватую косую крышу: спальня во втором этаже, а это – крыша одноэтажного крыла, где людская и кухня. Окна запираются на ночь белыми створчатыми ставнями.

За ширмой – дверь, ведущая на лестницу, а подальше у той же стены – блестящая белая печка и старинный умывальник, с баком, с клювастым краном: нажмешь ногой на медную педаль, и из крана прыщет тонкий фонтанчик. Слева от переднего окна – красного дерева комод с очень тугими ящиками, а справа – оттоманка.

Обои – белые, в голубоватых розах. В полубреду, бывало, из этих роз лепишь профиль за профилем или странствуешь глазами вверх и вниз, стараясь не задеть по пути ни одного цветка, ни одного листика, находишь лазейки в узоре, проскакиваешь, возвращаешься вспять, попав в тупик, и сызнаова начинаешь бродить по светлому лабиринту. Направо от постели, между киотом и боковым окном, висят две картины: черепаховая кошка, лакающая с блюдца молоко, и скворец, сделанный выпукло из собственных перьев на нарисованной скворечнице. Рядом, у оконного косяка, приделана керосиновая лампа, склонная выпускать черный язык

копоты. Есть еще картины: литография – неаполитанец с открытой грудью – над комодом, а над рукомойником – нарисованная карандашом голова лошади, что, раздув ноздри, плывет по воде.

День-деньской кровать скользит в жаркое ветренное небо, и когда привстаешь, то видишь верхушки лип, круто прохваченные желтым солнцем, телефонные проволоки, на которые садятся стрижи, и часть деревянного навеса над мягкой красной дорогой перед парадным крыльцом. Оттуда доносятся изумительные звуки: щебетанье, далекий лай, скрип водокачки.

Лежишь, плывешь и думаешь о том, что скоро встанешь; и в солнечной луже играют мухи, и цветной моток шелка, как живой, спрыгивает с колен матери, сидящей подле, мягко катится по янтарному паркету...

В этой комнате, где в шестнадцать лет выздоравливал Ганин, и зародилось то счастье, тот женский образ, который спустя месяц он встретил наяву. В этом сотворении участвовало все – и мягкие литографии на стенах, и щебет за окном, и коричневый лик Христа в киоте, и даже фонтанчик умывальника. Зарождавшийся образ стягивал, вбирал всю солнечную прелесть этой комнаты, и, конечно, без нее он никогда бы не вырос. В конце концов, это было просто юношеское предчувствие, сладкие туманы, но Ганину теперь казалось, что никогда такого рода предчувствие не оправдывалось так совершенно. И целый день он переходил из садика в садик, из кафе в кафе, и его воспоминанье непрерывно летело вперед, как апрельские облака по нежному берлинскому небу. Люди, сидевшие в кафе, полагали, что у этого человека, так пристально глядящего перед собой, должно быть какое-нибудь глубокое горе, а на улице он в рассеянье толкал встречных, и раз быстрый автомобиль затормозил и выругался, едва его не задев.

Он был богом, воссоздающим погибший мир. Он постепенно воскрешал этот мир, в угоду женщине, которую он еще не смел в него поместить, пока весь он не будет закончен. Но ее образ, ее присутствие, тень ее воспоминанья требовали того, чтобы наконец он и ее бы воскресил, – и он нарочно отодвигал ее образ, так как желал к нему подойти постепенно, шаг за шагом, точно так же, как тогда, девять лет тому назад. Боясь спутаться, затеряться в светлом лабиринте памяти, он прежний путь свой воссоздавал осторожно, бережно, возвращаясь иногда к забытой мелочи, но не забегая вперед. Блуждая в этот весенний вторник по Берлину, он и вправду выздоравливал, ощущал первое вставанье с постели, слабость в ногах. Смотрелся во все зеркала. Белье и одежды казались необыкновенно чистыми, просторными и немного чужими. Он медленно шел по широкой аллее, что вела от площадки дома в дебри парка. Там и сям вздувались на лиловатой от лиственной тени земле черные червистые холмики – работа кротов. Он надел белые панталоны, сиреневые носки. Он мечтал встретить кого-нибудь в парке, кого – он еще не знал.

Дойдя до конца аллеи, где сияла в темной зелени хвои белая скамья, он повернул обратно, и далеко впереди в пролете между лип виден был оранжевый песок садовой площадки и блестящие стекла веранды.

Сиделка уехала обратно в Петербург, – долго высывалась из коляски, махала коротенькой рукой, и ветер трепал косынку. Дни пошли радостные, бодрые. В усадьбе была прохлада, плащи солнца на паркете. И через две недели он уже до одури катался на велосипеде, лупил по вечерам в городки с сыном скотницы. А еще через неделю случилось то, чего он так ждал. «И куда все это делось, – вздохнул Ганин. – Где теперь это счастье и солнце, эти рюхи, которые так славно звякали и скакали, мой велосипед с низким рулем и большой передачей?... По какому-то там закону ничто не теряется, материю истребить нельзя, значит, где-то существуют и по сей час щепки от моих рюх и спицы от велосипеда. Да вот беда в том, что не соберешь их опять, – никогда. Я читал о „вечном возвращении“... А что, если этот сложный пасьянс никогда не выйдет во второй раз? Вот... чего-то никак не осмыслю... Да: неужели все это умрет со мной?»

Я сейчас один в чужом городе. Пьян. От коньяку и пива трещит башка. Ноги вдосталь нашатались. И вот сейчас может лопнуть сердце, – и с ним лопнет мой мир... Никак не осмыслю...»

Он оказался опять в том же сквере, но теперь было совсем холодно, небо к вечеру подернулось обморочной бледнотой.

«Осталось четыре дня: среда, четверг, пятница, суббота. А я сейчас могу умереть...»

– Подтянуться! – вдруг пробормотал он, сдвинув темные брови. – Довольно. Пора домой.

На площадке лестницы он встретился с Алферовым, который, слегка сгорбившись в своем широченном пальто и старательно выпучив губы, совал ключ в замочную скважину лифта.

– Иду газету покупать, Лев Глебович. Хотите, вместе пройдемся?

– Благодарю, – сказал Ганин и прошел к себе.

Но, взявшись за ручку двери, он остановился. Им овладел мгновенный соблазн. Он услышал, как Алферов вошел в лифт, как машина с трудным глухим грохотом опустилась донизу и там лязгнула.

«Унесло... – подумал он, покусывая губы. – А, чорт... рискну». Судьба так захотела, чтобы минут пять спустя Клара постучалась к Алферову, чтобы спросить, нет ли у него почтовой марки. Сквозь верхнее матовое стекло двери желтел свет, и потому она решила, что Алферов дома.

– Алексей Иванович, – сказала Клара, одновременно стуча и приоткрывая дверь, – нет ли у вас...

Она в изумленье запнулась. У письменного стола стоял Ганин и поспешно задвигал ящик. Он оглянулся, блеснув зубами, толкнул ящик бедром и выпрямился.

– Ах, Боже мой, – тихо сказала Клара и попятилась из комнаты.

Ганин быстро шагнул к ней, на ходу выключив свет и захлопнув дверь. Клара прислонилась к стене в полутемном коридоре и с ужасом глядела на него, прижав пухлые руки к вискам.

– Боже мой... – повторила она так же тихо. – Как вы могли...

С медленным грохотом, словно отдуваясь, поплыл вверх лифт.

– Возвращается. – таинственно шепнул Ганин.

– О, я не выдам вас, – горько воскликнула Клара, не сводя с него блестящих, влажных глаз, – но как вы могли? Ведь он не богаче вас... Нет, это кошмар какой-то.

– Пойдемте к вам, – сказал с улыбкой Ганин. – Я вам, пожалуй, объясню...

Она медленно отделилась от стены и, нагнув голову, пошла в свою комнату. Там было тепло, пахло хорошими духами, на стене была копия с картины Беклина «Остров мертвых», на столике стояла фотография – Людмилино лицо, очень подправленное.

– Мы с нею поссорились, – кивнул Ганин в сторону снимка. – Не зовите меня, если она будет у вас. Все кончено.

Клара села с ногами на кушетку и, кутаясь в черный платок, исподлобья глядела на Ганина.

– Все это глупости, Клара, – сказал он, садясь рядом с ней и опираясь на выпрямленную руку. – Неужели вы думаете, что я действительно крал деньги? Но конечно, мне будет неприятно, если Алферов узнает, что я залезал к нему в стол.

– Да что же вы делали? Что могло быть другого? – зашептала Клара. – Я от вас не ожидала этого, Лев Глебович.

– Какая вы, право, смешная, – сказал Ганин и заметил, что ее большие, ласковые, слегка навывкате глаза чересчур уж блестят, что слишком уж взволнованно поднимаются и спадают ее плечи под черным платком.

– Полноте, – улыбнулся он. – Ну хорошо, предположим, я – вор, взломщик. Но почему это вас так тревожит?

– Уходите, пожалуйста, – тихо сказала Клара и отвернула голову. Он рассмеялся, пожал плечом...

Когда же дверь за ним закрылась, Клара заплакала, и плакала долго, тяжелыми блестящими слезами, которые равномерно возникали на ее ресницах и сползали продолговатыми каплями по ее запыхавшим от рыданий щекам.

– Бедный мой, – бормотала она, – до чего жизнь довела его. И что я могу ему сказать...

Раздался легкий стук в стену из комнаты танцоров. Клара сильно высморкалась, прислушалась. Стук повторился опять, по-женски бархатный: это, верно, стучал Колин. Потом прокатился смех, кто-то воскликнул: «Алек, о Алек, перестань...» – и два голоса глухо и нежно затараторили.

Клара подумала о том, что завтра, как всегда, нужно ехать на службу, до шести стучать по кнопкам, следя за лиловой строчкой, которая с зернистым потрескиванием высыпает на лист, или же, если дела нет, читать, подперев ее об черный ремингтон, одолженную, бесстыдно растрепанную книгу. Она сварила себе чай, вяло поужинала, потом долго раздевалась, вздыхая и лениво двигаясь. Лежа в постели, она слышала, что рядом, в номере у Подтягина, голоса, кто-то входил, выходил, неожиданно голос Ганина что-то громко сказал, Подтягин ответил тихо, сокрушенно. Она вспомнила, что старик сегодня опять ездил насчет паспорта, что у него тяжелая болезнь сердца, что жизнь проходит: в пятницу ей минет двадцать шесть лет. А голоса все звучали, – и Кларе казалось, что она живет в стеклянном доме, колеблющемся и плывущем куда-то. Шум поездов, особенно ясно слышный по ту сторону коридора, добирался и сюда, и кровать как будто поднималась и покачивалась. Перед ней мелькнула спина Ганина, который склонялся над столом и оглядывался через плечо, скаля яркие зубы. А потом она уснула и во сне видела какую-то чушь: будто села в трамвай, а рядом старушка, необыкновенно похожая на ее тетку, жившую в Лодзи, быстро говорит что-то по-немецки, и оказывается понемногу, что это вовсе не ее тетка, а та радушная торговка, у которой Клара по дороге на службу покупает апельсины.

5

В этот вечер к Антону Сергеевичу зашел гость. Это был старый господин с желтоватыми усами, подстриженными на английский манер, солидный, очень опрятно одетый, в сюртуке и полосатых штанах. Подтягин его потчевал бульоном «Магги», когда вошел Ганин. Воздух был синеват от папиросных паров.

– Господин Ганин, господин Куницын, – и Антон Сергеевич, сияя стеклами пенсне и посапывая, вдавил Ганина своей мягкой рукой в кресло.

– Это, Лев Глебович, мой старый однокашник, когда-то шпаргалки мне писал.

Куницын осклабился.

– Было дело, – проговорил он низким, круглым голосом. – А позвольте вас спросить, дорогой Антон Сергеевич, который теперь час?

– Да ну вас, час детский, можно еще посидеть.

Куницын встал, подтягивая жилет:

– Супруга ждет, не могу.

– Ну что же, не смею удерживать, – развел руками Антон Сергеевич и бочком, через пенсне поглядел на гостя. – А жене вашей кланяйтесь. Не имею чести знать, но поклон передайте.

– Благодарю, – сказал Куницын. – Очень приятно. Всего доброго. Пальто я, кажется, в передней оставил.

– Я вас еще провожу, – сказал Подтягин. – Простите, пожалуйста, Лев Глебович, сейчас вернусь.

Оставшись один, Ганин поудобнее уселся в старом зеленом кресле и в раздумье улыбнулся. Он зашел к старому поэту, оттого что это был, пожалуй, единственный человек, который мог бы понять его волнение. Ему хотелось рассказать ему о многом – о закатах над русским шоссе, о березовых рощах. В переплетенных старых журналах «Всемирная Иллюстрация» да «Живописное Обозрение» ведь бывали под виньетками стихи этого самого Подтяги́на.

Антон Сергеевич вернулся, хмуро покачивая головой.

– Обидел меня, – сказал он, садясь к столу и барабаня пальцами. – Ах, как обидел...

– В чем дело? – улыбнулся Ганин.

Антон Сергеевич снял пенсне, вытер его краем скатерти.

– Презирает он меня, вот в чем дело. Знаете, что он мне давеча сказал? Посмотрел с этакой холодной усмешечкой: вы, говорит, стихи свои пописывали, а я не читал. А если бы читал, терял бы то время, что отдавал работе. Вот что он мне сказал, Лев Глебович; я вас спрашиваю, умно ли это?

– А кто он такой? – спросил Ганин.

– Да чорт его знает. Деньги делает. Эх-ма. Он человек, видите ли.

– Что же тут обидного, Антон Сергеевич?

У него одно, а у вас другое. Ведь вы его, небось, тоже презираете.

– Ах, Лев Глебович, – заволновался Подтягин, – да разве я не прав, коли презираю его? Не это ведь ужасно, а ужасно то, что такой человек смеет мне деньги предложить...

Он открыл кулак, выбросил на стол смятую бумажку:

– ... ужасно то, что я принял. Извольте любоваться, – двадцать марковой, чтобы их чорт подрал.

Старик совсем растрепетался, жевал губами, седая щетка под нижней губой прыгала, толстые пальцы барабанили по столу. Потом он с болезненным присвистом вздохнул и покачал головой:

– Петька Куницын... Как же, все помню... Хорошо учился, подлец. И аккуратный такой был, при часах. Пальцем показывал во время урока, сколько минут до звонка. Первую гимназию с медалью кончил.

– Странно, должно быть, вам это вспоминать, – задумчиво сказал Ганин. – Странно вообще вспоминать, ну хотя бы то, что несколько часов назад случилось, ежедневную – и все-таки не ежедневную – мелочь.

Подтягин внимательно и мягко посмотрел на него:

– Что это с вами, Лев Глебович? Лицо у вас как-то светлее. Опять, что ли, влюблены? А насчет странностей воспоминанья... Фу-ты, как хорошо улыбнулся...

– Я недаром к вам зашел, Антон Сергеевич...

– А я вас Куницыным угостил. Берите пример с него. Вы как учились?

– Так себе, – опять улыбнулся Ганин. – Балашовское училище в Петербурге, знаете? – продолжал он, слегка подлаживаясь под тон Подтягина, как это часто бывает, когда говоришь со стариком. – Ну, вот. Помню тамошний двор. Мы в футбол лупили. Под аркой были сложены дрова. Мяч, бывало, собьет полено.

– Мы больше в лапту играли да в казаки-разбойники, – сказал Подтягин. – Вот жизнь и прошла, – добавил он неожиданно.

– А я, знаете, Антон Сергеевич, сегодня вспоминал старые журналы, в которых были ваши стихи. И березовые рощи.

– Неужели помните, – ласково и насмешливо повернулся к нему старик. – Дура я, дура, – я ведь из-за этих берез всю свою жизнь проглядел, всю Россию. Теперь, слава Богу, стихов не пишу. Баста. Совестно даже в бланки вписывать: «поэт». Я, кстати, сегодня опять ни черта не понял. Чиновник даже обиделся. Завтра снова поеду.

Ганин посмотрел себе на ноги и не спеша заговорил:

– В школе, в последних классах, мои товарищи думали, что у меня есть любовница, да еще какая: светская дама. Уважали меня за это. Я ничего не возражал, так как сам распустил этот слух.

– Так, так, – закивал Подтягин. – В вас есть что-то хитрое, Левушка... Это хорошо...

– А на самом деле я был до смешного чист. И совершенно не страдал от этой чистоты. Гордился ею, как особенной тайной, а выходило, что я очень опытен. Правда, я вовсе не был стыдлив и застенчив. Просто очень удобно жил в самом себе и ждал. А товарищи мои, те, что сквернословили, задыхались при слове «женщина», были все такие прыщеватые, грязные, с мокрыми ладонями. Вот за эти прыщи я их презирал. И лгали они ужасно отвратительно о своих любовных делах.

– Не могу скрыть от вас, – своим матовым голосом сказал Подтягин, – что я начал с горничной. А какая была прелесть, тихая, сероглазая. Глашей звали. Вот какие дела.

– Нет, я ждал, – тихо сказал Ганин. – От тринадцати до шестнадцати лет, три, значит, года. Когда мне было тринадцать лет, мы играли раз в прятки, и я оказался со сверстником вместе в платяном шкафу. Он в темноте и рассказал мне, что есть на свете чудесные женщины, которые позволяют себя раздевать за деньги. Я не расслышал правильно, как он их назвал, и у меня вышло: принститутка. Смесь институтки и принцессы. Их образ мне казался поэтому особенно очаровательным, таким таинственным. Но конечно, я вскоре понял, что ошибся, так как те женщины, которые вразвалку ходили по Невскому и называли нас, гимназистов, «карандашами», вовсе меня не прельщали. И вот, после трех лет такой гордости и чистоты, я дождался. Это было летом, у нас в деревне.

– Так, так, – сказал Подтягин. – Все это я понимаю. Только вот скучно немного. Шестнадцать лет, роща, любовь...

Ганин посмотрел на него с любопытством:

– Да что же может быть лучше, Антон Сергеевич?

– Эх, не знаю, не спрашивайте меня, голубчик. Я сам поэзией охолостил жизнь, а теперь поздно начать жить сызнова. Только думается мне, что в конце концов лучше быть сангвиником, человеком дела, а если кутить, так *так*, чтобы зеркала лопались.

– И это было, – усмехнулся Ганин.

Подтягин на минуту задумался.

– Вот вы о русской деревне говорили, Лев Глебович. Вы-то, пожалуй, увидите ее опять. А мне тут костыми лечь. Или если не здесь, то в Париже. Совсем я сегодня раскис что-то. Простите.

Оба замолкли. Прошел поезд. Далеко, далеко крикнул безутешно и вольно паровоз. Ночь в незавешенном стекле холодно синела, отражая абажур лампы и край освещенного стола. Подтягин сидел сутуло, опустив седую голову и вертя в руках кожаный футляр портсигара. Никто бы не мог сказать, о чем он размышлял. Были ли то думы о бледно прошедшей жизни, или же старость, болезнь, нищета, с темной ясностью ночного отраженья, являлись перед ним, – были ли это думы о паспорте, о Париже, или просто – скучная мысль о том, что вот узор на коврике как раз вмещает носок сапога, что хорошо бы выпить холодного пива, что гость засиделся, не уходит, – Бог весть; но Ганин, глядя на его большую поникшую голову, на старческий пушок в ушах, на плечи, округленные писательским трудом, почувствовал внезапно такую грусть, что уже не хотелось рассказывать ни о русском лете, ни о тропинках парка, ни тем более о том удивительном, что случилось вчера.

– Ну вот, я пойду. Спи спокойно, Антон Сергеевич.

– Спокойной ночи, Левушка, – вздохнул Подтягин. – Хорошо мы потолковали с вами. Вы вот не презираете меня за то, что я взял у Куницына денег.

И только в последнюю минуту, уже на пороге комнаты, Ганин остановился, сказал:

– Знаете что, Антон Сергеевич? У меня начался чудеснейший роман. Я сейчас иду к ней. Я очень счастлив.

Подтягин приветливо кивнул:

– Так, так. Кланяйтесь. Не имею чести знать, но все равно кланяйтесь.

6

Он, странно сказать, не помнил, когда именно увидел ее в первый раз. Быть может, на дачном концерте, устроенном в большой риге на лугу. А может быть, и до того он мельком ее видал. Он как будто бы уже знал ее смех, нежную смуглоту и большой бант, когда студент-санитар при местном солдатском лазарете рассказывал ему о барышне «милой и замечательной» – так выразился студент, – но этот разговор происходил еще до концерта. Ганин теперь напрасно напрягал память: первую, самую первую встречу он представить себе не мог. Дело в том, что он ожидал ее с такою жадностью, так много думал о ней в те блаженные дни после тифа, что сотворил ее единственный образ задолго до того, как действительно ее увидел, потому теперь, через много лет, ему и казалось, что та встреча, которая мерещилась ему, и та встреча, которая наяву произошла, сливаются, переходят одна в другую незаметно, оттого что она, живая, была только плавным продлением образа, предвещавшего ее.

И в июльский вечер Ганин нажал на железную, певучую дверь парадного крыльца и вышел в синеву сумерек. В сумерках особенно легко шел велосипед, шина с шелестом нашупывала каждый подъем и выгиб в утопанной земле по краю дороги. И когда он скользнул мимо темной конюшни, оттуда пахнуло теплом, фырканьем, нежным стуком переставленного копыта. И дальше дорогу охватили с обеих сторон бесшумные в этот час березы, и в стороне, посреди луга, был мягкий свет, словно на гумне тлел пожар, и темными полями к отдельно стоявшей риге шли вразброд, не спеша, по-праздничному гудевшие люди.

Внутри был сколочен помост, расставлены скамейки, свет обливал головы и плечи, играл в глазах, пахло леденцами и керосином. Народу набралось много: в глубине разместились мужики и бабы, посередке дачники и дачницы, впереди же на белых парковых скамейках – человек двадцать солдат из сельского лазарета, нахохленных, тихих, с проплешинами в серой синеве стриженных, очень круглых голов. А в стенах, украшенных еловой хвоей, там и сям были щели, сквозь которые глядели звездная ночь да черные тени мальчишек, взгромоздившихся по той стороне на высоко наваленные бревна.

Из Петербурга приехавший бас, тощий, с лошадиным лицом, извергался глухим громом; школьный хор, послушный певучему шелчку камертона, подтягивал ему.

И среди желтого, жаркого блеска, среди звуков, становившихся зримыми в виде складок пунцовых и серебристых платков, мигавших ресниц, черных теней на верхних балках, перемещавшихся, когда продувал ночной ветерок, среди этого мерцанья и лубочной музыки, среди всех плеч и голов, в громадной, битком набитой риге, – для Ганина было только одно: он смотрел перед собой на каштановую косу в черном банте, чуть зазубрившемся на краях, он гладил глазами темный блеск волос, по-девически ровный на темени. Когда она поворачивала в сторону лицо, обращаясь быстрым, смеющимся взглядом к соседке, он видел и темный румянец ее щеки, уголок татарского горящего глаза, тонкий изгиб ноздри, которая то щурилась, то расширялась от смеха.

А потом, когда все кончилось, и огромный заводской автомобиль, таинственно озарив траву и затем взмахом света ослепив спящую березу и мостик над канавой, увез столичного баса, и в синюю темноту по клеверной росе поплыли, празднично и зыбко белеясь, дачницы, и кто-то в темноте закуривал, держа в горстях у освещенного лица вспыхнувший огонек, – Ганин, взволнованный и одинокий, пошел домой, катя за седло чуть стрекотавший спицами велосипед.

Окно большой старомодной уборной в крыле дома, между чуланом и комнатухой экономки, выходило на заброшенную часть садовой площадки, где чернела в тени железного навеса чета колес над колодцем и шли по земле деревянные желоба водостока между обнаженными вьющимися корнями трех огромных, разросшихся вширь тополей. Окно было распис-

ное: цветной копыеносец казал на стекле свою квадратную бороду и могучие икры, – и странно светился он при тусклом блеске керосиновой лампы с жестяным рефлектором, висевшей подле тяжелого бархатного шнура: дернешь, и в таинственных недрах дубового кресла закипит влажный гул, глухие глотки. Ганин отпахнул пошире раму цветного окна, уселся с ногами на подоконник, – и бархатный шнур тихо качался, – и звездное небо между черных тополей было такое, что хотелось поглубже вздохнуть. И эту минуту, когда он сидел на подоконнике мрачной дубовой уборной и думал о том, что, верно, никогда, никогда он не узнает ближе барышни с черным бантом на нежном затылке, и тщетно ждал, чтобы в тополях защелкал фетовский соловей, – эту минуту Ганин теперь справедливо считал самой важной и возвышенной во всей его жизни.

Он не помнил, когда он ее увидел опять – на следующий день или через неделю. На закате, до вечернего чая, он взмахивал на пружинистый кожаный клин, упирался руками в рулевые рога и катил прямо в зарю. Он избирал всегда один и тот же путь, круговой, мимо двух деревень, разделенных сосновым лесом, и потом по шоссе, между полей, и домой через большое село Воскресенск, что лежит на реке Оредежь, воспетой Рылеевым. Он знал самый путь, то узкий, утрамбованный, бегущий вдоль опасной канавы, то мощный бульжниками, по которым прыгало переднее колесо, то изрытый коварными колеями, то гладкий, розоватый, твердый, – он знал этот путь на ощупь и на глаз, как знаешь живое тело, и катил по нему без запинки, вдавливая в шелестящую пустоту упругие педали.

В основном перелеске, на шероховатых стволах, вечернее солнце лежало огненно-румяными полосками. Из дачных садиков доносился стук крокетных шаров; и в рот, в глаза попадали мошки.

Иногда на шоссе у пирамидки щебня, над которым пустынно и нежно гудел телеграфный столб, облупившийся сизыми струпьями, он останавливался и, опираясь на велосипед, глядел через поля на одну из тех лесных опушек, что бывают только в России, далекую, зубчатую, черную, и над ней золотой запад был пересечен одним только лиловатым облаком, из-под которого огненным веером расходились лучи. И глядя на небо, и слушая, как далеко-далеко на селе почти мечтательно мычит корова, он старался понять, что все это значит – вот это небо, и поля, и гудящий столб; казалось, что вот-вот сейчас он поймет, – но вдруг начинала кружиться голова, и светлое томленье становилось нестерпимым.

Он никогда не знал, где встретит, где обгонит ее, на каком повороте дороги, в этом ли перелеске или в следующем. Она жила в Воскресенске, и в тот же час, как и он, выходила бродить в пустыне солнечного вечера. Он замечал ее издали, и сразу холодело в груди. Она шла быстро, засунув руки в карманы темно-синей, под цвет юбки, шевиотовой кофточки, надетой поверх белой блузки, и Ганин, как тихий ветер нагоняя ее, видел только складки синей материи, которые на спине у нее слегка натягивались и переливались, да черный шелковый бант, распахнувший крылья. Пролетая мимо, он никогда не заглядывал ей в лицо, а притворялся углубленным в езду, хотя за минуту до того, представляя себе встречу, клялся, что улыбнется ей, поздоровается. Ему казалось в эти дни, что у нее должно быть какое-нибудь необыкновенное, звучное имя, а когда узнал от того же студента, что ее зовут Машенька, вовсе не удивился, словно знал наперед, – и по-новому, очаровательной значительностью, зазвучало для него это простенькое имя.

– Машенька, Машенька, – зашептал Ганин, – Машенька... – и набрал побольше воздуха, и замер, слушая, как бьется сердце. Было около трех часов ночи, поезда не шли, и потому казалось, что дом остановился. На стуле, раскинув руки, как человек, оцепеневший среди молитвы, смутно белела в темноте сброшенная рубашка.

– Машенька, – опять повторил Ганин, стараясь вложить в эти три слога все то, что пело в них раньше, – ветер, и гудение телеграфных столбов, и счастье, – и еще какой-то сокровенный звук, который был самой жизнью этого слова. Он лежал навзничь, слушал свое прошлое. И

вдруг за стеной раздалось нежно, тихонько, назойливо: туу... ту... ту-ту... Алферов думал о субботе.

7

Утром на следующий день, в среду, рыжая ручища Эрики просунулась в номер второго апреля и уронила на пол длинный сиреневый конверт. На конверте Ганин равнодушно узнал косой, крупный, очень правильный почерк. Марка была наклеена вниз головой, и в углу толстый палец Эрики оставил жирный след. Конверт был крепко надушен, и Ганин мельком подумал, что надушить письмо то же, что опрыскать духами сапоги для того, чтобы перейти через улицу. Он надул щеки, выпустил воздух и сунул нераспечатанное письмо в карман. Спустя несколько минут он его опять вынул, повертел в руках и кинул на стол. Потом прошелся раза два по комнате.

Все двери пансиона были открыты. Звуки утренней уборки мешались с шумом поездов, которые, пользуясь сквозняками, прокатывали по всем комнатам. Ганин, оставшийся по утрам дома, обычно сам выметал сор, стелил постель. Он теперь спохватился, что второй день не убирал комнаты, и вышел в коридор в поисках щетки и тряпки. Лидия Николаевна с ведром в руке шуркнула мимо него как мышь и на ходу спросила: «Вам Эрика передала письмо?»

Ганин молча кивнул и взял половую щетку, лежавшую на дубовом бауле. В зеркале прихожей он увидел отраженную глубину комнаты Алферова, дверь которой была настежь открыта. В этой солнечной глубине – день был на диво погожий – косой конус озаренной пыли проходил через угол письменного стола, и он с мучительной ясностью представил себе те фотографии, которые сперва ему показывал Алферов и которые он потом с таким волнением рассматривал один, когда помешала ему Клара. На этих снимках Машенька была совсем такой, какой он ее помнил, и теперь страшно было подумать, что его прошлое лежит в чужом столе.

В зеркале отражение захлопнулось: это Лидия Николаевна, мышиными шажками просеменяв по коридору, толкнула открытую дверь.

Ганин со щеткой в руке вернулся в свою комнату. На столе лежало сиреневое пятно. Он вспомнил по быстрому сочетанью мыслей, вызванных этим пятном и отраженьем стола в зеркале, те другие, очень старые письма, что хранились у него в черном бумажнике, лежащем рядом с крымским браунингом, на дне чемодана.

Он загреб длинный конверт со стола, локтем отпахнул пошире оконную раму и сильными своими пальцами разорвал накрест письмо, разорвал опять каждую долю, пустил лоскутки по ветру, и бумажные снежинки полетели, сияя, в солнечную бездну. Один лоскуток порхнул на подоконник, Ганин прочел на нем несколько изуродованных строк:

нечно, сумею теб
юбовь. Я только про
обы ты был сча

Он щелчком скинул его с подоконника в бездну, откуда веяло запахом угля, весенним простором, и, облегченно двинув плечами, принялся убирать комнату.

Потом он слышал, как один за другим возвращались к обеду соседи, как Алферов громко смеялся, как Подтягин что-то мягко бормотал. И еще спустя некоторое время Эрика вышла в коридор и уныло забухала в гонг.

Идя к обеду, он обогнал у двери столовой Клару, которая испуганно взглянула на него. И Ганин улыбнулся, да такой красивой и ласковой улыбкой, что Клара подумала: «Пускай он вор, – а все-таки такого второго нет». Ганин открыл дверь, она наклонила голову и прошла мимо него в столовую. Остальные уже сидели по местам, и Лидия Николаевна, держа громадную ложку в крохотной увядшей руке, грустно разливала суп.

У Подтяги́на сегодня опять ничего не вышло. Старику действительно не везло. Французы разрешили приехать, а немцы почему-то не выпускали. Между тем у него оставалось как

раз достаточно средств, чтобы выехать, а продлись эта канитель еще неделю, деньги уйдут на жизнь, и тогда до Парижа не доберешься. Кушая суп, он рассказывал, с каким-то грустным и медлительным юмором, как его гнали из одного отдела в другой, как он сам не мог объяснить, что ему нужно, и как наконец усталый, раздраженный чиновник накричал на него.

Ганин поднял глаза и сказал:

– Да поедem туда завтра вместе, Антон Сергеевич. У меня времени вдоволь. Я помогу вам объясниться.

Он, точно, хорошо говорил по-немецки.

– Ну что же, спасибо, – ответил Подтягин и снова, как вчера, заметил необычную светлость его лица. – А то, знаете, прямо хоть плачь. Опять два часа простоял в хвосте и вернулся ни с чем. Спасибо, Левушка.

– Вот у жены моей тоже будут хлопоты... – заговорил Алферов. И с Ганиным случилось то, чего никогда с ним не случалось. Он почувствовал, что нестерпимая краска медленно заливает ему лицо, горячо щекочет лоб, словно он напился уксусу. Идя к обеду, он не подумал о том, что эти люди, тени его изгнаннического сна, будут говорить о настоящей его жизни – о Машеньке. И с ужасом, со стыдом он вспомнил, что сам, по неведению своему, третьего дня за обедом смеялся с другими над женой Алферова. И сегодня опять кто-нибудь мог усмехнуться.

– Она, впрочем, у меня расторопная, – говорил тем временем Алферов. – В обиду себя не даст. Не даст себя в обиду моя женка.

Колин и Горноцветов переглянулись, хихикнули. Ганин, кусая губы и опустив глаза, катал хлебный шарик. Он решил было встать и уйти, но потом пересилил себя. Подняв голову, он заставил себя взглянуть на Алферова и, взглянув, удивился, как Машенька могла выйти за этого человека с жидкой бородкой и блестящим пухлым носом. И мысль, что он сидит рядом с мужчиной, который Машеньку трогал, знает ощущение ее губ, ее словечки, смех, движенья и теперь ждет ее, – эта мысль была ужасна, но вместе с тем он ощущал какую-то волнующую гордость при воспоминанье о том, что Машенька отдала ему, а не мужу, свое глубокое, неповторимое благоуханье.

После обеда он вышел пройтись, потом влез на верхушку автобуса. Внизу проливались улицы, по солнечным зеркалам асфальта разбегались черные фигурки, автобус качался, грохотал, – и Ганину казалось, что чужой город, проходивший перед ним, только движущийся снимок. Потом, вернувшись домой, он видел, как Подтягин стучался в номер Клары, и Подтягин показался ему тоже тенью, случайной и ненужной.

– А наш-то опять в кого-то влюблен, – кивнул в сторону двери Антон Сергеевич, попивая чай у Клары. – Не в вас ли?

Та отвернулась, полная грудь ее поднялась и опустилась, ей не верилось, что это могло быть так; она боялась этого, боялась того Ганина, который шарил в чужом столе, но все-таки ей был приятен вопрос Подтяги́на.

– Не в вас ли, Кларочка? – повторил он, дуя на чай и через пенсне искоса поглядывая на нее.

– Он вчера порвал с Людмилой, – вдруг сказала Клара, чувствуя, что Подтяги́ну можно проговориться.

– Я так и думал, – кивнул старик, со вкусом отхлебывая. – Недаром он такой озаренный. Старому – прочь, новому – добро пожаловать. Слыхали, что он мне сегодня предложил? Завтра – вместе со мной в полицию.

– Я буду у нее вечером, – задумчиво сказала Клара. – Бедняжка. У нее был загробный голос по телефону.

Подтяги́н вздохнул:

– Что же, дело молодое. Ваша подруга утешится. Все это благо. А знаете, Кларочка, мне-то скоро помирать...

– Бог с вами, Антон Сергеевич! Какие глупости.

– Нет, не глупости. Сегодня ночью опять был припадок. Сердце – то во рту, то под кроватью.

– Бедный вы, – забеспокоилась Клара. – Ведь нужно доктора...

Подтягин улыбнулся:

– Я пошутил. Мне, напротив, куда легче эти дни. А припадок – пустяк. Сам сейчас выдумал, чтобы посмотреть, как вы очеса распахнете. Если бы мы были в России, Кларочка, то за вами ухаживал бы земский врач или какой-нибудь солидный архитектор. Вы как – любите Россию?

– Очень.

– То-то же. Россию надо любить. Без нашей эмигрантской любви России – крышка. Там ее никто не любит.

– Мне уже двадцать шесть лет, – сказала Клара, – я целое утро стучу на машинке и пять раз в неделю работаю до шести. Я очень устаю. Я совершенно одна в Берлине. Как вы думаете, Антон Сергеевич, это долго будет так продолжаться?

– Не знаю, голубушка, – вздохнул Подтягин. – Сказал бы, да не знаю. Вот я тоже работал, журнал тут затеял... А теперь сижу на бобах. Дай Бог только в Париж попасть. Там жить привольнее. Как вы думаете, попаду?

– Ну что вы, Антон Сергеевич, конечно. Завтра все устроится.

– Привольнее и, кажется, дешевле, – сказал Подтягин, ложечкой доставая нерастаявший кусочек сахара и думая о том, что в этом ноздреватом кусочке есть что-то русское, весеннее, когда вот снег тает.

8

День Ганина еще более опустел в житейском смысле после его разрыва с Людмилой, но зато теперь не было тоски бездействия. Воспоминанье так занимало его, что он не чувствовал времени. Тень его жила в пансионе госпожи Дорн, – он же сам был в России, переживал воспоминанье свое как действительность. Временем для него был ход его воспоминанья, которое разворачивалось постепенно. И хотя роман его с Машенькой продолжался в те далекие годы не три дня, не неделю, а гораздо больше, он не чувствовал несоответствия между действительным временем и тем другим временем, в котором он жил, так как память его не учитывала каждого мгновенья, а перескакивала через пустые, непамятные места, озаряя только то, что было связано с Машенькой, и потому выходило так, что не было несоответствия между ходом прошлой жизни и ходом настоящей.

Казалось, что эта прошлая, доведенная до совершенства жизнь проходит ровным узором через берлинские будни. Что бы Ганин ни делал в эти дни, та жизнь согревала его неотступно.

Это было не просто воспоминанье, а жизнь, гораздо действительнее, гораздо «интенсивнее» – как пишут в газетах, – чем жизнь его берлинской тени. Это был удивительный роман, развивающийся с подлинной, нежной осторожностью.

Конец июля на севере России уже пахнет слегка осенью. Мелкий желтый лист нет-нет да и слетит с березы; в просторах скошенных полей уже пусто и светло по-осеннему. Вдоль опушки, где еще лоснится на ветру островок высокой травы, избежавшей косарей, на бледно-лиловых подушечках скабиоз спят отяжелевшие шмели. И как-то вечером, в парковой беседке...

Да. Эта беседка стояла на подгнивших сваях, над оврагом, и с обеих сторон к ней вели два покатых мостика, скользких от ольховых сережек да еловых игол.

В небольших ромбах белых оконниц были разноцветные стекла: глядишь, бывало, сквозь синее – и мир кажется застывшим в лунном обмороке, – сквозь желтое – и все весело чрезвычайно, – сквозь красное – и небо розово, а листва как бургундское вино. И некоторые стекла были разбиты, а торчавшие уголки соединены паутиной. Беседка была снутри беленая; на стенах, на откидном столике дачники, забиравшиеся незаконно в парк, оставляли карандашные надписи.

Так забралась и Машенька с двумя неприметными подругами. Он сперва обогнал ее на тропинке парка, бегущей вдоль реки, и проехал так близко, что подруги ее с визгом шарахнулись. Он обогнул парк, перерезал его, и потом вдали, сквозь листву, увидел, как они входят в беседку. Он прислонил велосипед к дереву и вошел за ними.

– В парке нельзя гулять посторонним, – сказал он тихо и хрипло, – на калитке есть даже вывеска.

Она ничего не ответила, играющими раскосыми глазами смотрела на него. Он спросил, указывая на одну из бледных надписей:

– Это вы сделали?

А написано было: «В этой беседке двадцатого июня Машенька, Лида и Нина пережидали грозу».

Они все три рассмеялись, и тогда он рассмеялся тоже, сел на столик, закачал ногами, заметил некстати, что черный шелковый носок порвался на щиколотке. И Машенька вдруг сказала, указав на розовую дырочку:

– Смотрите, у вас – солнышко.

Они говорили о грозе, о дачниках и о том, что он болен был тифом, и о смешном студенте в солдатском лазарете, и о концерте в сарае.

У нее были прелестные бойкие брови, смугловатое лицо, подернутое тончайшим шелковистым пушком, придающим особенно теплый оттенок щекам; ноздри раздувались, пока она

говорила, посмеиваясь и высасывая сладость из травяного стебля; голос был подвижный, картавый, с неожиданными грудными звуками, и нежно вздрагивала ямочка на открытой шее.

Потом, к вечеру, он провожал ее и ее подруг до села и, проходя по зеленой лесной дороге, заросшей плевелами, мимо хромой скамьи, очень серьезно рассказывал: «Макарони растут в Италии. Когда они еще маленькие, их зовут вермишелью. Это значит: Мишины червяки⁴».

Он условился с ними, что завтра повезет их всех на лодке. Но она явилась без подруг. У шаткой пристани он развернул грохочущую цепь большой, тяжелой, красного дерева шлюпки, откинул брезент, ввинтил ключины, выволок весла из длинного ящика, вдел стержень руля в стальное кольцо.

Поодаль ровно шумели шлюзы водяной мельницы; вдоль белых складок спадающей воды рыжеватым золотом отливали подплывшие стволы сосен.

Машенька села у руля, он оттолкнулся багром и медленно стал грести вдоль самого берега парка, где на воде черными павлиньими глазами отражались густые ольхи и порхало много темно-синих стрекоз. Потом он повернул на середину реки, вилля между парчовых островов тины, и Машенька, держа в одной руке оба конца мокрой рулевой веревки, другую руку опускала в воду, стараясь сорвать глянцеви́то-желтую головку кувшинки. Ключины скрипели при каждом нажиме весел; он то откидывался, то подавался вперед, и Машенька, сидевшая против него у руля, то отдалялась, то приближалась в своей синей кофточке, раскрытой на легкой, дышащей блузе.

На реке теперь отражался левый, красный как терракота, берег, сверху поросший елью да черемухой, в красной крутизне вырезаны были имена и даты, а в одном месте кто-то, лет сорок тому назад, высек громадное скуластое лицо. Правый берег был пологий, вереск лиловел между пятнистых берез. А потом, под мостом, хлынула темная прохлада, сверху был тяжелый стук копыт и колес, и когда опять лодка выплыла, солнце ослепило, сверкнуло на концах весел, выхватило телегу с сеном, которая как раз проезжала по низкому мосту, и зеленый скат, и над ним белые колонны большой заколоченной усадьбы александровских времен. А потом спустился к самой реке с обеих сторон темный бор, и лодка с мягким шуршаньем въехала в камыши.

А дома ничего не знали, жизнь тянулась летняя, знакомая, милая, едва затронутая далекой войной, шедшей уже целый год. Старый, зеленоватосерый, деревянный дом, соединенный галереей с флигелем, весело и спокойно глядел цветными глазами своих двух стеклянных веранд на опушку парка и на оранжевый крендель садовых тропинок, огибавших черноземную пестроту куртин. В гостиной, где стояла белая мебель и на скатерти стола, расшитой розами, лежали мрамористые тома старых журналов, желтый паркет выливался из наклонного зеркала в овальной раме, и дагерротипы на стенах слушали, как оживало и звенело белое пианино. Вечером высокий синий буфетчик в нитяных перчатках выносил на веранду лампу под шелковым абажуром, и Ганин возвращался домой пить чай, глотать холодные хлопья простокваши на этой светлой веранде с камышовым ковром на полу и черными лаврами вдоль каменных ступеней, ведущих в сад.

Он теперь ежедневно встречался с Машенькой, по той стороне реки, где стояла на зеленом холму пустая белая усадьба и был другой парк, пошире и запущеннее, чем на мызе.

Перед этой чужой усадьбой, на высокой площадке над рекой, стояли под липами скамьи и железный круглый стол, с дыркой посередине для стока дождевой воды. Оттуда виден был далеко внизу мост через тинистую излучину и шоссе, поднимавшееся в Воскресенск. Эта площадка была их любимым местом.

И однажды, когда они встретились там в солнечный вечер после бурного ливня, на садовом столе оказалась хулиганская надпись. Деревенский озорник соединил их имена корот-

⁴ Каламбур с *фр. ver* (червяк) и *Michel* (Мишель). Слово «вермишель» заимствовано из *ит. vermicelli* – червячки.

ким, грубым глаголом, безграмотно начав его с буквы «и». Надпись сделана была химическим карандашом и слегка расплылась от дождя. Тут же, на мокром столе, прилипли сучки, листики, меловые червячки птичьих испражнений.

И так как стол принадлежал им, был святой, освященный их встречами, то спокойно, молча они принялись стирать пучками травы сырой лиловый росчерк. И когда весь стол смешно полиловел и пальцы у Машеньки стали такими, как будто она только что собирала чернику, Ганин, отвернувшись и прищуренными глазами глядя внимательно на что-то желто-зеленое, текучее, жаркое, что было в обыкновенное время липовой листвой, объявил Машеньке, что давно любит ее.

Они так много целовались в эти первые дни их любви, что у Машеньки распухали губы и на шее, такой всегда горячей под узлом косы, появлялись нежные подтеки. Она была удивительно веселая, скорее смешливая, чем насмешливая. Любила песенки, прибаутки всякие, словечки да стихи. Песенка у нее погостит два-три дня и потом забудется, прилетит новая. Так, во время самых первых свиданий она все повторяла, картаво и проникновенно: «Скрутили Ванечке руки и ноги, долго томили Ваню в остроге», – и смеялась воркотливым, грудным смехом: «Вот здорово-то!» Во рвах о ту пору зрела последняя, водянисто-сладкая малина; она необыкновенно любила ее, да и вообще постоянно что-нибудь сосала – стебелек, листик, леденец. Ландриновские леденцы она носила просто в кармане, слипшимися кусками, к которым прилипали шерстинки, сор. И духи у нее были недорогие, сладкие, назывались «Тагор». Этот запах, смешанный со свежестью осеннего парка, Ганин теперь старался опять уловить, но, как известно, память воскрешает все, кроме запахов, и зато ничто так полно не воскрешает прошлого, как запах, когда-то связанный с ним.

И Ганин на мгновение отстал от своего воспоминанья, подумал о том, как мог прожить столько лет без мысли о Машеньке, – и сразу опять нагнал ее: она бежала по шуршащей темной тропинке, черный бант мелькал, как огромная траурница, – и Машенька вдруг остановилась, схватилась за его плечо и, подняв ногу, принялась тереть запачкавшийся башмачок о чулок другой ноги – повыше, под складками синей юбки.

Ганин уснул, лежа одетый на нераскрытой постели; воспоминанье его расплылось и перешло в сновиденье. Это сновиденье было необычайное, редчайшее, и он бы знал, о чем оно, если бы на рассвете его не разбудил странный, словно громовой, раскат. Он привстал, прислушался. Гром оказался непонятным кряхтеньем и шорохом за дверью: кто-то тяжело скребся в нее; ручка, едва блестящая в тумане рассветного воздуха, вдруг опустилась и вскочила опять, но дверь осталась закрытой, хотя не была заперта на ключ. Ганин, двигаясь беззвучно и с удовольствием предвкушая приключенье, сполз с постели и, на всякий случай сжав в кулак левую руку, правой сильно рванул дверь.

К нему на плечо, с размаху, как громадная, мягкая кукла, ничком пал человек. От неожиданности Ганин едва не ударил его, но тотчас же почувствовал, что человек валится на него только потому, что не в силах стоять. Он отодвинул его к стене и нащупал свет.

Перед ним, опираясь головой о стену и лоя воздух разинутым ртом, стоял старик Подтягин, босой, в длинной ночной рубашке, распахнутой на седой груди. Глаза его, без пенсне, обнаженные, слепые, не мигали, лицо было цвета сухой глины, большой живот горой ходил под натянутым полотном рубашки.

Ганин сразу понял, что старика опять одолел сердечный припадок. Он поддержал его, и Подтягин, тяжело передвигая сизые ноги, добрался до кресла, рухнул в него, откинул серое, вдруг вспотевшее лицо.

Ганин сунул в кувшин полотенце и прижал отяжелевшие мокрые складки к голой груди старика. Ему казалось, что в этом большом, напряженном теле могут сейчас с резким хрустом лопнуть все кости.

И вдруг Подтягин передохнул, со свистом выпустил воздух. Это был не просто вздох, а чудеснейшее наслаждение, от которого сразу оживились его черты. Ганин, поощрительно улыбаясь, все прижимал к его телу мокрое полотенце, потирал ему грудь, бока.

– Лу... лучше, – выдохнул старик.

– Сидите совсем спокойно, – сказал Ганин. – Сейчас все пройдет.

Подтягин дышал и мычал, шевеля крупными кривыми пальцами босых ног. Ганин прикрыл его одеялом, дал ему выпить воды, отворил пошире окно.

– Не мог... дышать, – с трудом проговорил Подтягин. – Не мог к вам войти... так ослаб. Один... не хотел умирать...

– Сидите смирно, Антон Сергеевич. Скоро день. Позовем доктора.

Подтягин медленно потер лоб рукой, задышал ровнее.

– Миновало, – сказал он. – На время миновало.

У меня все капли вышли. Потому было так худо.

– И капель купим. Хотите перебраться ко мне на постель?...

– Нет. Я посижу и пойду к себе. Миновало. А завтра утром...

– Отложим до пятницы, – сказал Ганин. – Виза не убежит.

Подтягин облизал толстым, пупырчатым языком засохшие губы:

– Меня в Париже давно ждут, Левушка. А у племянницы нет денег выслать мне на дорогу.

Эх-ма...

Ганин сел на подоконник (и мельком подумал: «Я так сидел совсем недавно, но где?») И вдруг вспомнил – цветную глубину беседки, белый откидной столик, дырку на носке).

– Потушите, пожалуйста, свет, голубчик, – попросил Подтягин. – Больно глазам.

В полутьме все показалось очень странным: и шум первых поездов, и эта большая седая тень в кресле, и блеск пролитой воды на полу. И все это было гораздо таинственнее и смутнее той бессмертной действительности, которой жил Ганин.

9

Утром Колин заваривал для Горноцветова чай. В этот четверг Горноцветов должен был рано поехать за город, чтобы повидать балерину, набиравшую труппу, и потому все в доме еще спали, когда Колин, в необыкновенно грязном японском халатике и в потрепанных ботинках на босу ногу, поплелся в кухню за кипятком. Его круглое, неумное, очень русское лицо, со вздернутым носом и синими томными глазами (сам он думал, что похож на верлэновского «полу-пьерро, полу-гаврош»), было помято и лоснилось, белокурые волосы, еще не причесанные на косой ряд, падали поперек лба, свободные шнурки ботинок со звуком мелкого дождя похлестывали об пол. Он по-женски надувал губы, возясь с чайником, а потом стал что-то мурлыкать, тихо и сосредоточенно. Горноцветов кончал одеваться, завязывал бантиком пятнистый галстук перед зеркалом, сердясь на прыщ, только что срезанный при бритье и теперь сочащийся желтой кровью сквозь плотный слой пудры. Лицо у него было темное, очень правильное, длинные загнутые ресницы придавали его карим глазам ясное, невинное выражение, черные короткие волосы слегка курчавились, он по-кучерски брил сзади шею и отпускал бачки, которые двумя темными полосками загибались вдоль ушей. Был он, как и его приятель, невысокого роста, очень тощий, с прекрасно развитыми мускулами ног, но узенький в груди и в плечах.

Они подружились сравнительно недавно, танцовали в русском кабаре где-то на Балканах и месяца два тому назад приехали в Берлин в поисках театральной фортуны. Особый оттенок, таинственная жеманность несколько отделяла их от остальных пансионеров, но, говоря по совести, нельзя было порицать голубиное счастье этой безобидной четы.

Колин, после ухода друга, оставшись один в неубранной комнате, открыл прибор для отделки ногтей и, вполголоса напевая, стал подрезывать себе заусеницы. Чрезмерной чистоплотностью он не отличался, зато ногти держал в отменном порядке.

В комнате тяжело пахло ориганом и потом; в мыльной воде плавал пучок волос, выдернутых из гребешка. По стенам поднимали ножку балетные снимки; на столе лежал большой раскрытый веер, и рядом с ним – грязный крахмальный воротничок.

Колин, полюбовавшись на пунцоватый блеск вычищенных ногтей, тщательно вымыл руки, натер лицо и шею туалетной водой, душистой до тошноты, скинув халат, прошелся нагишом на пуантах, подпрыгнул с быстрой ножной трелью, проворно оделся, напудрил нос, подвел глаза и, застегнув на все пуговицы серое, в талию, пальто, пошел прогуляться, ровным движением поднимая и опуская конец щегольской тросточки.

Возвращаясь домой к обеду, он обогнал у парадной двери Ганина, который только что покупал в аптеке лекарство для Подтягина. Старик чувствовал себя хорошо, что-то пописывал, ходил по комнате, но Клара, посоветовавшись с Ганиным, решила не пускать его сегодня из дому.

Колин, подоспев сзади, сжал Ганину руку повыше локтя. Тот обернулся:

– А, Колин... хорошо погуляли?

– Алек сегодня уехал, – заговорил Колин, поднимаясь рядом с Ганиным по лестнице. – Я ужасно волнуюсь, получит ли он ангажемент...

– Так, так, – сказал Ганин, который решительно не знал, о чем с ним говорить.

Колин засмеялся:

– А Алферов-то вчера опять застрял в лифте. Теперь лифт не действует...

Он повел набалдашником трости по перилу и посмотрел на Ганина с застенчивой улыбкой:

– Можно у вас посидеть немного? Мне что-то очень скучно сегодня...

«Ну ты, брат, не вздумай со скуки ухаживать за мной», – мысленно огрызнулся Ганин, открывая дверь пансиона, и вслух ответил:

– К сожалению, я сейчас занят. В другой раз.

– Как жаль, – протянул Колин, входя за Ганиным и прикрывая за собой дверь. Дверь не поддавалась, кто-то сзади просунул большую, коричневую руку, и оттуда басистый берлинский голос грянул:

– Одно мгновение, господа.

Ганин и Колин оглянулись. Порог переступил усатый, тучный почтальон.

– Здесь живет герр Алфэров?

– Первая дверь налево, – сказал Ганин.

– Благодарю, – на песенный лад прогудел почтальон и постучался в указанный номер.

Это была телеграмма.

– Что такое? Что такое? Что такое? – судорожно лепетал Алфэров, неловкими пальцами развертывая ее. От волнения он не сразу мог прочесть наклеенную ленточку бледных неровных букв: «Priedu subbotu 8 utra». Алфэров вдруг понял, вздохнул и перекрестился.

– Слава тебе, Господи... Приезжает...

Широко улыбаясь и потирая свои костлявые ляжки, он присел на постель и стал покачиваться взад и вперед. Его водянисто-голубые глаза быстро помигивали, бородка цвета навозца золотилась в косом потоке солнца.

– Зер гут⁵, – бормотал он. – Послезавтра – суббота. Зер гут. Сапоги в каком виде!.. Машенька удивится. Ничего, как-нибудь проживем. Квартирку найдем, дешевенькую. Она уж решит. А пока здесь проживем. Благо дверь есть между комнатами.

Погодя немного, он вышел в коридор и постучался в соседний номер.

Ганин подумал: «Что это мне сегодня покоя не дают?»

– Вот что, Глеб Львович, – без обиняков начал Алфэров, круговым взглядом обводя комнату, – вы когда думаете съехать?

Ганин с раздражением посмотрел на него:

– Меня зовут Лев. Постарайтесь запомнить.

– Ведь к субботе съедете? – спросил Алфэров и мысленно соображал: «Постель нужно будет иначе. Шкаф от проходной двери отставить...»

– Да, съеду, – ответил Ганин и опять, как тогда за обедом, почувствовал острую неловкость.

– Ну вот и отлично, – возбужденно подхватил Алфэров. – Простите за беспокойство, Глеб Львович.

И, в последний раз окинув взглядом комнату, он со стуком вышел.

– Дурак... – пробормотал Ганин. – К чорту его. О чем это я так хорошо думал сейчас... Ах да... ночь, дождь, белые колонны...

– Лидия Николаевна! Лидия Николаевна! – громко звал маслянистый голос Алфэрова в коридоре.

«Житья от него нет, – злобно подумал Ганин. – Не буду сегодня здесь обедать. Довольно».

На улице асфальт отливал лиловым блеском; солнце путалось в колесах автомобилей. Рядом с кабачком был гараж; пройма его ворот зияла темнотой, и оттуда нежно пахло карбидом. И этот случайный запах помог Ганину вспомнить еще живее тот русский дождливый август, тот поток счастья, который тени его берлинской жизни все утро так назойливо прерывали.

Он выходил из светлой усадьбы в черный, журчащий сумрак, зажигал нежный огонь в фонарике велосипеда, – и теперь, когда он случайно вдохнул карбид, ему все вспомнилось сразу: мокрая трава, хлещущая по движущейся икре, по спицам колес, круг молочного света, впивающий и растворяющий тьму, из которой возникали: то морщинистая лужа, то блестящий

⁵ Отлично (нем.).

камешек, то навозом обитые доски моста, то, наконец, вертящаяся калитка, сквозь которую он протискивался, задевая плечом мягкую мокрую листву акаций.

И тогда в струящейся тьме выступали с тихим вращением колонны, омытые все тем же нежным, белесым светом велосипедного фонарика, и там на шестиколонном крытом перроне чужой заколоченной усадьбы его встречал душистый холодок, смешанный запах духов и промокшего шевиота, – и этот осенний, этот дождевой поцелуй был так долог и так глубок, что потомплыли в глазах большие, светлые, дрожащие пятна, и еще сильнее казался развесистый, многолиственный, шелестящий шум дождя. Мокрыми пальцами он открывал стеклянную дверцу фонарика, тушил огонек. Ветер напирал из тьмы тяжело и влажно. Машенька, сидя рядом на облупившейся балюстраде, гладила ему виски холодной ладошкой, в темноте он различал смутный угол ее промокшего банта и улыбающийся блеск глаз.

Дождевая сила в липах перед перроном, в черной, клубящейся тьме, прокатывала широким порывом, и скрипели стволы, схваченные железными скрепами для поддержания их дряхлой мощи. И под шум осенней ночи он расстегивал ей кофточку, целовал ее в горячую ключицу; она молчала, – только чуть блестели глаза, – и кожа на ее открытой груди медленно остывала от прикосновений его губ и сырого ночного ветра. Они говорили мало, говорить было слишком темно. Когда он наконец зажег спичку, чтобы посмотреть на часы, Машенька щурилась, откидывала со щеки мокрую прядь. Он обнимал ее одной рукой, другой катил, толкая за седло, велосипед, – и в морозящей тьме они тихо шли прочь, спускались по тропе к мосту и там прощались – длительно, горестно, словно перед долгой разлукой.

И в ту черную, бурную ночь, когда, накануне отъезда в Петербург к началу школьного года, он в последний раз встретился с ней на этом перроне с колоннами, случилось нечто страшное и неожиданное, символ, быть может, всех грядущих кошмаров. В эту ночь особенно шумно шел дождь, и особенно нежной была их встреча. И внезапно Машенька вскрикнула, прыгнула с перил. И при свете спички Ганин увидел, что ставня одного из окон, выходящих на перрон, отвернута, что к черному стеклу изнутри прижимается, сплющив белый нос, человеческое лицо. Оно двинулось, скользнуло прочь, но оба они успели узнать рыжеватые вихры и выпученный рот сына сторожа, зубоскала и бабника лет двадцати, всегда попадавшегося им в аллеях парка. И Ганин одним бешеным прыжком кинулся к окну, просадил спиной хряснувшее стекло, ввалился в ледяную мглу и с размаху ударился головой в чью-то крепкую грудь, которая екнула от толчка. И в следующий миг они сцепились, покатались по гулкому паркету, задевая во тьме мертвую мебель в чехлах, и Ганин, высвободив правую руку, стал бить каменным кулаком по мокрому лицу, оказавшемуся вдруг под ним. И только когда сильное тело, прижатое им к полу, вдруг обмякло и стало стонать, он встал и, тяжело дыша, тыкаясь во тьме о какие-то мягкие углы, добрался до окна, вылез опять на перрон, отыскал рыдавшую, перепуганную Машеньку – и тогда заметил, что изо рта у него течет что-то теплое, железистое и что руки порезаны осколками стекла. А утром он уехал в Петербург – и по дороге на станцию, из окна глухо и мягко стучавшей кареты, увидел Машеньку, шедшую по краю шоссе вместе с подругами. Стенка, обитая черной кожей, мгновенно закрыла ее, и так как он был не один в карете, то он не решился взглянуть в заднее овальное оконце.

Судьба в этот последний августовский день дала ему наперед отведать будущей разлуки с Машенькой, разлуки с Россией.

Это было пробным испытанием, таинственным предвкушением; особенно грустно уходили одна за другой в серую муть горящие рябины, и казалось невероятным, что весной он опять увидит эти поля, этот валун на юру, эти задумчивые телеграфные столбища.

В петербургском доме все показалось по-новому чистым, и светлым, и положительным, как это всегда бывает по возвращении из деревни. Началась школа, – он был в седьмом классе, учился небрежно. Выпал первый снег, и чугунные ограды, спины понурых лошадей, дрова на баржах покрылись белым, пухловатым слоем.

И только в ноябре Машенька переселилась в Петербург. Они встретились под той аркой, где – в опере Чайковского – гибнет Лиза. Валил отвесно крупный мягкий снег в сером, как матовое стекло, воздухе. И Машенька в это первое петербургское свидание показалась слегка чужой, оттого, быть может, что была в шляпе и в шубке. С этого дня началась новая – снеговая – эпоха их любви. Встретаться было трудно, подолгу блуждать на морозе было мучительно, искать теплой уединенности в музеях и в кинематографах было мучительнее всего, – и недаром в тех частых, пронзительнонежных письмах, которые они в пустые дни писали друг другу (он жил на Английской набережной, она на Караванной), оба вспоминали о тропинках парка, о запахе листопада как о чем-то невысказанно дорогое и уже невозвратимое: быть может, только бередили любовь свою, а может быть, действительно понимали, что настоящее счастье минуло. И по вечерам они звонили друг другу – узнать, получено ли письмо и где и когда встретиться: ее смешное произношение было еще прелестнее в телефон, она говорила куцые стишки и тепло смеялась, прижимала к груди трубку, и ему чудилось, что он слышит стук ее сердца.

Так они говорили часами.

Она ходила в ту зиму в серой шубке, слегка толстившей ее, и в замшевых гетрах, надетых прямо на тонкие комнатные башмачки. Он никогда не видел ее простуженной, даже озябшей. Мороз, метель только оживляли ее, и в ледяных вихрях в темном переулке он обнажал ей плечи, снежинки щекотали ее, она улыбалась сквозь мокрые ресницы, прижимала к себе его голову, и рыхлый снежок осыпался с его каракулевой шапки к ней на голую грудь.

Эти встречи на ветру, на морозе больше его мучили, чем ее. Он чувствовал, что от этих несовершенных встреч мельчает, протирается любовь. Всякая любовь требует уединения, приюта, а у них приюта не было. Их семьи не знали друг друга; эта тайна, которая сперва была такой чудесной, теперь мешала им. И ему начинало казаться, что все поправится, если она, хотя бы в меблированных номерах, станет его любовницей, – и эта мысль жила в нем как-то отдельно от самого желанья, которое уже слабело под пыткой скудных прикосновений.

Так проблуждали они всю зиму, вспоминая деревню, мечтая о будущем лете, иногда ссорясь и ревнуя, пожимая друг дружке руки под мохнатой, плешивой полостью легких извозчицких санок, – а в самом начале нового года Машеньку увезли в Москву.

И странно: эта разлука была для Ганина облегчением.

Он знал, что летом она вернется в дачное место под Петербургом, он сперва много думал о ней, воображал новое лето, новые встречи, писал ей все те же пронзительные письма, а потом стал писать реже, а когда сам переехал на дачу в первые дни мая, то и вовсе писать перестал. И в эти дни он успел сойтись и порвать с нарядной, милой, белокурой дамой, муж которой воевал в Галиции.

И потом Машенька вернулась.

Голос ее слабо и далеко вспыхнул, в телефоне дрожал гул, как в морской раковине, по временам еще более далекий перекрестный голос перебивал, вел с кем-то разговор в четвертом измеренье: дачный телефонный аппарат был старый, с вращательной ручкой, – и между ним и Машенькой было верст пятьдесят гудящего тумана.

– Я приеду, – кричал в трубку Ганин. – Я говорю, что приеду. На велосипеде, выйдет два часа.

– ... Не хотел опять в Воскресенске. Ты слушаешь? Папа ни за что не хотел опять снять дачу в Воскресенске. От тебя досюда пятьдесят...

– Не забудьте привезти штиблеты, – мягко и равнодушно сказал перекрестный голос.

И снова в жужжанье просквозила Машенька точно в перевернутом телескопе. И когда она совсем исчезла, Ганин прислонился к стене и почувствовал, что у него горят уши.

Он выехал около трех часов дня, в открытой рубашке и футбольных трусиках, в резиновых башмаках на босу ногу. Ветер был в спину, он ехал быстро, выбирая гладкие места между

острых камешков на шоссе, и вспоминал, как проезжал мимо Машеньки в прошлом июле, когда еще не был с нею знаком.

На пятнадцатой версте лопнула задняя шина, и он долго чинил ее, сидя на краю канавы. Над полями, с обеих сторон шоссе, звенели жаворонки; прокатил в облаке пыли серый автомобиль с двумя офицерами в совиных очках. Покрепче надув починенную шину, он поехал дальше, чувствуя, что не рассчитал, опоздал уже на час. Свернув с шоссе, он поехал лесом, по тропе, указанной прохожим мужиком. И потом свернул опять, да неверно, и долго колесил, раньше чем попал на правильную дорогу. Он отдохнул и поел в деревушке, и когда оставалось всего двенадцать верст, переехал острый камушек, и опять свистнула и осела та же шина.

Было уже темновато, когда он прикатил в дачный городок, где жила Машенька. Она ждала его у ворот парка, как было условлено, но уже не надеялась, что он приедет, так как ждала уже с шести часов. Увидя его, она от волнения оступилась, чуть не упала. На ней было белое сквозистое платье, которого Ганин не знал. Бант исчез, и потому ее прелестная голова казалась меньше. В подобранных волосах синели васильки.

В этот странный, осторожно темнеющий вечер, в липовом сумраке широкого городского парка, на каменной плите, вбитой в мох, Ганин, за один недолгий час, полюбил ее острее прежнего и разлюбил ее как будто навсегда.

Они сначала говорили тихо и блаженно – о том, что вот так долго не виделись, о том, что на мху, как крохотный семафор, блестит светлячок. Ее милые, милые татарские глаза близко скользили у его лица, белое платье словно мерцало в темноте, – и, Боже мой, этот запах ее, непонятный, единственный в мире...

– Я твоя, – сказала она. – Делай со мной что хочешь.

Молча, с бьющимся сердцем, он наклонился над ней, забродил руками по ее мягким, холодноватым ногам. Но в парке были странные шорохи, кто-то словно все приближался из-за кустов; коленям было твердо и холодно на каменной плите; Машенька лежала слишком покорно, слишком неподвижно.

Он застыл, потом неловко усмехнулся.

– Мне все кажется, что кто-то идет, – сказал он и поднялся.

Машенька вздохнула,правила смутно белевшее платье, встала тоже.

И потом, когда они шли к воротам по пятнистой от луны дорожке, Машенька подобрала с травы бледно-зеленого светляка. Она держала его на ладони, наклонив голову, и вдруг рассмеялась, сказала с чуть деревенской ужимочкой: «В общем – холодный червячок».

И в это время Ганин, усталый, недовольный собой, озябший в своей легкой рубашке, думал о том, что все кончено, Машеньку он разлюбил, – и когда через несколько минут он покатил в лунную мглу домой по бледной полосе шоссе, то знал, что больше к ней не приедет.

Лето прошло; Машенька не писала, не звонила, он же занят был другими делами, другими чувствами.

Снова на зиму он вернулся в Петербург, ускоренным порядком в декабре держал выпускные экзамены, поступил в Михайловское юнкерское училище. И следующим летом, уже в год революции, он еще раз увиделся с Машенькой.

Он был на перроне Варшавского вокзала. Вечерело. Только что подали дачный поезд. В ожиданье звонка он гулял взад и вперед по замызанной платформе и, глядя на сломанную багажную тачку, думал о чем-то другом, о вчерашней пальбе перед Гостиным Двором, и вместе с тем был раздражен мыслью, что не мог дозвониться на дачу и что придется плестись со станции на извозчике.

Когда лязгнул третий звонок, он подошел к единственному в составе синему вагону, стал влезать на площадку, – и на площадке, глядя на него сверху, стояла Машенька. За год она изменилась, слегка, пожалуй, похудела и была в незнакомом синем пальто с пояском. Ганин неловко поздоровался, вагон громыхнул буферами, поплыл. Они остались стоять на площадке.

Машенька, должно быть, видела его раньше и нарочно забралась в синий вагон, хотя ездила всегда в желтом, и теперь с билетом второго не хотела идти в отделение. В руках у нее была плитка шоколада «Блигкен и Робинсон»; она сразу отломала кусок, предложила.

И Ганину было страшно грустно смотреть на нее, – что-то робкое, чужое было во всем ее облике, посмеивалась она реже, все отворачивала лицо. И на нежной шее были лиловые кровоподтеки, теневое ожерелье, очень шедшее к ней. Он рассказывал какую-то чепуху, показывал ссадину от пули на сапоге, говорил о политике. А вагон погрохатывал, поезд несся между дымившихся торфяных болот в желтом потоке вечерней зари; торфяной сероватый дым мягко и низко стелился, образуя как бы две волны тумана, меж которых несся поезд.

Она слезла на первой станции, и он долго смотрел с площадки на ее удалявшуюся синюю фигуру, и чем дальше она уходила, тем яснее ему становилось, что он никогда не разлюбил ее. Она не оглянулась. Из сумерек тяжело и пушисто пахло черемухой.

Когда поезд тронулся, он вошел в отделение, и там было темно, оттого что в пустом вагоне кондуктор не счел нужным зажечь огарки в фонарях. Он лег навзничь на полосатый тюфяк лавки и в пройму дверцы видел, как за коридорным окном поднимаются тонкие провода среди дыма горящего торфа и смуглого золота заката. Было странно и жутковато нестись в этом пустом, тряском вагоне между серых потоков дыма, и странные мысли приходили в голову, словно все это уже было когда-то, – так вот лежал, подперев руками затылок, в сквозной грохочущей тьме, и так вот мимо окон, шумно и широко, проплывал дымный закат.

Больше он не видался с Машенькой.

10

Шум подкатил, хлынул, бледное облако заволокло окно, стакан задребезжал на рукояйнике. Поезд прошел, и теперь в окне снова раскинулась веерная пустыня рельс. Нежен и туманен Берлин, в апреле, под вечер.

В этот четверг, в сумерки, когда всего глуше гул поездов, к Ганину зашла, ужасно волнуясь, Клара – передать ему Людмилины слова: «Скажи ему так, – бормотала Людмила, когда от нее уходила подруга. – Так скажи: что я не из тех женщин, которых бросают. Я сама умею бросать. Скажи ему, что я от него ничего не требую, не хочу, но считаю свинством, что он не ответил на мое письмо. Я хотела проститься с ним по-дружески, предложить ему, что пускай любви не будет, но пускай останутся самые простые дружеские отношения, а он не потрудился даже позвонить. Передай ему, Клара, что я ему желаю всякого счастья с его немочкой и знаю, что он не так скоро забудет меня».

– Откуда взялась немочка? – поморщился Ганин, когда Клара, не глядя на него, быстрым, тихим голосом передала ему все это. – И вообще, почему она вмешивает вас в это дело. Очень все это скучно.

– Знаете что, Лев Глебович, – вдруг воскликнула Клара, окатив его своим влажным взглядом, – вы просто очень недобрый... Людмила о вас думает только хорошее, идеализирует вас, но если бы она все про вас знала...

Ганин с добродушным удивленьем глядел на нее. Она смутилась, испугалась, опустила опять глаза.

– Я только передаю вам, потому что она сама просила, – тихо сказала Клара.

– Мне нужно уезжать, – после молчанья спокойно заговорил Ганин. – Эта комната, эти поезда, стряпня Эрики – надоели мне. К тому же деньги мои кончаются, скоро придется опять работать. Я думаю в субботу покинуть Берлин навсегда, махнуть на юг земли, в какой-нибудь порт...

Он задумался, сжимая и разжимая руку.

– Впрочем, я ничего не знаю... Есть одно обстоятельство... Вы бы очень удивились, если бы узнали, что я задумал... У меня удивительный, неслыханный план. Если он выйдет, то уже послезавтра меня в этом городе не будет.

«Какой он, право, странный», – думала Клара, с тем щемящим чувством одиночества, которое всегда овладевает нами, когда человек, нам дорогой, предается мечте, в которой нам нет места.

Зеркально-черные зрачки Ганина расширились, нежные, частые ресницы придавали что-то пушистое, теплое его глазам, и спокойная улыбка задумчивости чуть приподымала его верхнюю губу, из-под которой белой полоской блестели ровные зубы. Темные, густые брови, напоминавшие Кларе обрезки дорогого меха, то сходились, то расступались, и на чистом лбу появлялись и исчезали мягкие морщинки. Заметив, что Клара глядит на него, он перемигнул ресницами, провел рукой по лицу и вспомнил, что хотел ей сказать:

– Да. Я уезжаю, и все прекратится. Вы так просто ей и скажите: Ганин, мол, уезжает и просит не поминать его лихом. Вот и все.

11

В пятницу утром танцовщики разослали остальным четырем жильцам такую записку:

Ввиду того что:

1. Господин Ганин нас покидает.
2. Господин Подтягин покидать собирается.
3. К господину Алферову завтра приезжает жена.
4. М-лле Кларе исполняется двадцать шесть лет.

и 5. Нижеподписавшиеся получили в сем городе ангажемент – ввиду всего этого устраивается сегодня в десять часов пополудни в номере шестого апреля – празднество.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.